

Кысь

Автор:

Татьяна Толстая

Кысь

Татьяна Никитична Толстая

Татьяна Толстая – прозаик, публицист, телеведущая («Школа злословия»), лауреат Премии им. Белкина («Легкие миры»). Автор сборников рассказов «На золотом крыльце сидели...», «День», «Ночь», «Изюм», «Легкие миры», «Невидимая дева» и др. Роман «Кысь» был удостоен премии «Триумф» и вошел в шорт-лист премии «Русский Букер».

Татьяна Толстая

Кысь

© Татьяна Толстая

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

А3

Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы ладно пришлось, проверил печную вьюшку, хлебные крошки смахнул на пол – для мышей, окно заткнул

тряпицей, чтоб не выстудило, вышел на крыльцо и потянул носом морозный чистый воздух. Эх и хорошо же! Ночная вьюга улеглась, снега лежат белые и важные, небо синее, высоченные клели стоят – не шелохнутся. Только черные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают. Бенедикт постоял, задрал кверху русую бороду, сощурился, поглядывая на зайцев. Сбить бы парочку – на новую шапку, да камня нету.

И мясца поесть бы неплохо. А то все мыши да мыши – приелись уже.

Если мясо черного зайца как следует вымочить, да проварить в семи водах, да на недельку-другую на солнышко выставить, да упарить в печи, – оно, глядишь, и не ядовитое.

Понятно, если самочка попадет. Потому как самец, его вари не вари – он все такой же. Раньше-то не знали, ели и самцов с голодухи. А теперь дознались: кто их поест – у того на всю жизнь в грудях хрипы и булькотня. И ноги сохнут. И еще волос из ушей прет: черный, толстый, и дух от него нехороший.

Бенедикт вздохнул: на работу пора; запахнул зипун, заложил дверь избы деревянным брусом и еще палкой подоткнул. Красть в избе нечего, но уж так он привык. И матушка, покойница, всегда так делала. В старину, до Взрыва, рассказывала, все двери-то свои запирали. От матушки и соседи этому обучились, оно и пошло. Теперь вся их слобода запирала двери палками. Может, это своеволие, конечно.

На семи холмах раскинулся городок Федор-Кузьмичск, родная сторонка, и шел Бенедикт, поскрипывая свежим снежком, радуясь февральскому солнышку, любуясь знакомыми улочками. Там и сям черные избы вереницами – за высокими тынами, за тесовыми воротами; на кольях каменные горшки сохнут или жбаны деревянные; у кого терем повыше, у того и жбаны поздоровей, а иной целую бочку на кол напялит, в глаза тычет: богато живу, голубчики! Такой на работу не пешедралом трюхает, а норовит в санях проехаться, кнутом помахивает; а в сани перерожденец запряжен, бежит, валенками топчет, сам бледный, взмыленный, язык наружу. Домчит до рабочей избы и встанет как вкопанный на все четыре ноги, только мохнатые бока ходуном ходят: хы-хы, хы-хы.

А глазами так и ворочает, так и ворочает. И зубы скалит. И озирается...

Ай, ну их к лешему, перерожденцев этих, лучше от них подальше. Страшные они, и не поймешь, то ли они люди, то ли нет: лицо вроде как у человека, туловище шерстью покрыто и на четвереньках бегают. И на каждой ноге по валенку. Они, говорят, еще до Взрыва жили, перерожденцы-то. А все может быть.

Морозец нынче, изо рта парок пыхает, и борода вся заиндевевши. А все равно благодать! Избы стоят крепкие, черные, вдоль заборов – высокие сугробы, и к каждым-то воротам тропочка протоптана. Холмы плавно сбегают вниз и плавно поднимаются, белые, волнистые; по заснеженным скатам скользят сани, за санями – синие тени, и снег хрустит всеми цветами, а за холмами солнышко встает и тоже играет радужным светом в синем небе. Прищуришься – от солнышка лучи идут кругаями, поддашь валенком пушистый снег – он и заискрится, словно спелые огнецы затрепетали.

Бенедикт подумал об огнецах, вспомнил матушку и вздохнул: вот из-за тех огнецов и преставилась, сердешная. Ложными оказались.

На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а вокруг городка – поля необозримые, земли неведомые. На севере – дремучие леса, бурелом, ветви переплелись и пройти не пускают, колючие кусты за порты цепляют, сучья шапку с головы рвут. В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! – а видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! – а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет. Вернется такой назад, а он уж не тот, и глаза не те, и идет, не разбирая дороги, как бывает, к примеру, когда люди ходят во сне под луной, вытянувши руки, и пальцами шевелят: сами спят, а сами ходят. Поймают его и ведут в избу, а иной раз для смеху поставят ему миску пустую, ложку в руку вторнут: ешь; он будто и ест, из пустой-то миски, и зачерпывает, и в рот несет, и жует, а после словно хлебом посудину обтирает, а хлеба-то в руке и нет; ну, родня, ясно, со смеху давится. Такой сам ничего делать не может, даже оправиться не умеет: каждый раз ему заново показывай. Ну, если жене или там матери его жалко, она его с собой в поганый чулан водит; а ежели за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец: как пузырь лопнет, так он и помирает.

Вот чего кысь-то делает.

На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и дорога есть – невидная, вроде тропочки. Идешь-идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повеваает, все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг, говорят, как встанешь. И стоишь. И думаешь: куда же это я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел? Нешто там лучше? И так себя жалко станет! Думаешь: а позади-то моя изба, и хозяйюшка, может, плачет, из-под руки вдаль смотрит; по двору куры бегают, тоже, глядишь, истосковались; в избе печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая... И будто червь сердце точит, точит... Плюнешь и назад пойдешь. А иной раз и побежишь. И как завидишь издали родные горшки на плетне, так слеза и брызнет. Вот не дать соврать, на аршин брызгает! Право!..

На юг нельзя. Там чеченцы. Сначала всё степи, степи – глаза вывалятся смотреть, – а за степями чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они, конечно, смотрят, сколько болотную ржавь покуривают да в палочку играют. Зажмет кто-нибудь в кулаке четыре палочки: три длинные, одну короткую. Кто короткую вытянет – тому щелбан. Но бывает, и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, велено кричать: «Чеченцы! Чеченцы!», тогда народ со всех слобод сбежится, палками в горшки бить начнет, чеченцев стращать. Те и шуганутся подальше.

Раз так двое с юга подступили к городку: старик со старухой. Мы в горшки колотим, топчем, кричим, а чеченцам хоть бы что, только головами вертят. Ну, мы – кто посмелей – вышли им навстречу с ухватами, веретенами, кто с чем. Что, дескать, за люди и зачем пожаловали.

– Мы, голубчики, с юга. Вторую неделю идем, совсем обезножели. Пришли менять сыромятные ремешки, может, у вас товар какой.

А какой у нас товар? Сами мышей едим. «Мыши – наша опора», так и Федор Кузьмич, слава ему, учит. Но народ у нас жалостливый, собрали по избам кто чего, выменяли на ремешки и отпустили их с Богом. После много о них разговору было: все вспоминали, какие они из себя, да что за сказки рассказывали, да зачем они к нам-то шли.

Ну, из себя они, как мы, обычные: старик седой, в лаптях, старушка в платочке, глазки голубенькие, на голове – рожки. А сказки у них были долгие да печальные: хоть Бенедикт тогда мал был да глуп, но слушал во все уши.

Будто лежит на юге лазоревое море, а на море на том – остров, а на острове – терем, а стоит в нем золотая лежанка. На лежанке девушка, один волос золотой, другой серебряный, один золотой, другой серебряный. Вот она свою косу расплетает, все расплетает, а как расплетет – тут и миру конец.

Наши слушали-слушали, потом:

– Что, дескать, значит слово такое: «золотой», и что – «серебряный»?

А они:

– «Золотой» – это вроде как огонь, а «серебряный» – как лунный свет или же, к примеру, как огнецы светятся.

Наши:

– А, ясно. Ну, еще расскажите.

А чеченцы:

– Есть большая река, отсюда пешего ходу три года. В той реке живет рыба – голубое перо. Говорит она человеческим голосом, плачет и смеется и по той реке туда-сюда ходит. Вот как она в одну сторону пойдет да засмеется – заря играет, солнышко на небо всходит, день настает. Пойдет обратно – плачет, за собой тьму ведет, на хвосте месяц тащит, а часты звездочки – той рыбы чешуя.

Наши:

– А не слышать, отчего зима бывает и отчего лето?

Старуха говорит:

– А не слыхивали, милые, врать не буду, не слыхивали. А тому, правда, многие дивятся: зачем бы зима, когда лето куда слаще. Видно, за грехи наши.

Но старик головой покрутил.

– Нет, – говорит, – на все должно быть свое объяснение из природы. Мне, – говорит, – один прохожий человек разъяснял. На севере стоит дерево вышиной до самых туч. Само черное, корявое, а цветики на нем белые, ма?а?ахонькие, как соринки. На дереве мороз живет, сам старый, борода за кушак заткнута. Вот как к зиме дело, как куры в стаи собьются да на юг двинутся, так мороз за дело принимается: с ветки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши да приговаривает: ду-ду-ду, ду-ду-ду! А потом как засвищет: ф?щ?щ?щ! тут ветер подымается и те белые цветы на нас сыплет: вот вам и снег. А вы говорите: зачем зима.

Наши голубчики говорят:

– Да, это правильно. Это так, должно быть. А ты вот, дедуля, неужто не боишься по дорогам ходить? Как же ночью-то? Не встречал ли лешего?

– Ой, встречал! – говорит чеченец. – Совсем близко видел, вот как вас, к примеру. Вот слушайте. Захотелось моей старухе огнецов покушать. Принеси да принеси. А огнецы в тот год спели сладкие, тянучие. Я и пойдю. Один.

– Как один? – опешили наши.

– А вот так! – похвастался чуженин. – Ну, слушайте дальше. Иду я себе, иду, а тут стемнело. Не то чтобы очень, а так, серенько стало. Иду это я на цыпочках, чтобы огнецов не спугнуть, вдруг: шу-шу-шу! Что такое. Посмотрел – никого. Опять иду. Тут опять: шу-шу-шу. Будто кто по листьям ладонью водит. Я оглянулся – опять никого. Еще шаг шагнул. И вдруг он прямо передо мной. Вот только что ничего не было, и вот уж он тут. Вот – руку протяни. И ведь небольшой такой. Может, мне по пояс али по титьки будет. Весь будто из старого сена свалян, глазки красным горят, а на ногах – ладоши. И он этими ладошами по земле притупывает да приговаривает: тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-тяпа... Ой и бежал же я!.. Не знаю, как и дома очутился. Так моей старухе огнецов и не досталось.

Тут детишки, которые слушали, просят:

– Расскажи, дедушка, какую еще нечисть в лесу видать.

Налили старику квасу яичного, он и начал:

– Был я тогда молодой, горячий. Ничего не боялся. Раз три бревна вместе лыком обвязал, на воду спустил – а речка у нас быстрая, широкая, – сел на них и плыву. Право слово! Бабы на берег сбежались, крик, визг, все как положено. Где же видано, чтобы человек по воде плавал? Это теперь, говорят, бревно долбят да на воду спускают. Коли не врут, конечно.

– Не врут, не врут! Это наш Федор Кузьмич придумал, слава ему! – кричат наши, а Бенедикт громче всех.

– Федор Кузьмич так Федор Кузьмич. Мы не знаем. Не ученые. Речь не об том. Ничего, я говорю, не боялся. Ни русалок, ни пузыря водяного, ни кочевряжки подкаменной. Я даже рыбку-вертизубку ведром поймал.

– Ну уж это... – наши говорят. – Это уж ты, дед, заврался.

– Правду говорю! Вот и старуха моя не даст соврать!

– Верно, – старуха говорит. – Было. Ой же я его ругала! Ведро опоганил, сжечь пришлось. А новое ведь пока выдолбишь, пока продубишь да просмолишь, да по три раза просушишь, да ржавью окуришь, да синим песком натрешь, – все-то я рученьки пообломала, надрываючись. А ему, вишь, доблесть одна. Потом вся деревня на него смотреть ходила. Кто и опасался.

– Естественно, – наши говорят.

Старик-то доволен.

– Зато, может, я один такой, – хвастает. – Чтоб вертизубку так близко видеть – вот как вас, к примеру, – и живым остаться. Что вы!.. Я богатырь был. Силища! Бывало, ка-ак заору! Пузыри в окнах лопаются. А сколько я ржави зараз выпить мог! Бочку усаживал.

А Бенедиктова матушка – она тут же сидела – губы поджала и говорит:

– А конкретную пользу вы из своей силы извлекали? Что-нибудь общественно полезное для коммуны сделали?

Старик обиделся.

– Я, голубушка, в молодые-то годы мог на одной ноге отсюда как вон до того пригорка допрыгать! А не пользу. Я, говорю тебе, бывало, как гаркну – солома с крыш валится. У нас все в роду такие. Богатыри. Вот старуха не даст соврать: у меня если мозоль али чирей вскочит – аж с кулак. Не меньше. У меня, я тебе скажу, прыщи вот такие были. Вот такие. А ты говоришь. Да если хочешь знать, у меня батя, бывало, голову почешет – с полведра перхоти натрясет.

– Да ладно вам! – шумят наши. – Ты, дедуль, про нечисть обещал.

Но дед, видно, не на шутку обозлился.

– Ничего говорить не буду. Приходят тут слушать... так слушай!
А не подъелдыкивай. Всю, понимаешь, мечту разворотила. Небось из Прежних, поговору чую.

– Это точно, – наши на матушку косятся. – Из Прежних... Давай, дедушка, начинай.

Рассказал еще чеченец про страсти лесные, про то, как тропинки различать: которые всамделишные, а которые – морок один, зеленый пар, травяная кудель, волшебство и наваждение, – все приметы доложил; про то, как русалка на заре поет, кулдычет водяные свои песни: поначалу низко так, глубоко возьмет: ы, ы, ы, ы, ы, потом выше забирает: оуааа, оуааа, – тогда держись, гляди в оба, не то в реку затянет, – а уж когда песня на визг пойдет: ййих! ййих! – тут уж беги, мужик, без памяти. Рассказал про лыко заговоренное и как его опасаться надо; про Рыло, что народ за ноги хватает; и про то, как ржавь самую лучшую ищут.

Тут Бенедикт высунулся:

– Дедушка, а кысь видели?..

Посмотрели на него все как на дурака. Помолчали. Ничего не ответили.

Проводили бесстрашного старика, и опять в городке тишина. Дозор усилили, но больше на нас с юга никто не напал.

Нет, мы все больше на восход от городка ходим. Там леса светлые, травы длинные, муравчатые. В травах – цветики лазоревые, ласковые: коли их нарвать, да вымочить, да побить, да расчесать – нитки прясть можно, холсты ткать. Покойная матушка на этот промысел непроторная была, все у нее из рук валилось. Нитку сучит – плачет, холсты ткет – слезами заливается. Говорит, до Взрыва все иначе было. Придешь, говорит, в МОГОЗИН – берешь что хочешь, а не понравится, – и нос воротишь, не то что нынче. МОГОЗИН этот у них был вроде Склада, только там добра больше было, и выдавали добро не в Складские дни, а целый день двери растворены стояли.

Что-то не верится. Ведь это ж каждый забеги и хватай? Это ж сторожей не напасешься? Нас ведь только пусти: все разнесем до щепочки. А сколько народищу передадим? Ведь и в Склад идешь – глазами по сторонам зыркаешь: кому что дали, да сколько, да почему не мне?

А и смотрим зря: больше положенного не унесешь. Да не очень-то на чужой талант и зазевывайся: мигом тебе Складские Работники накладывают тулумбасов?то по шее. Получил, мол, свое – и проваливай! Не то и положенное отыдем.

Вот идешь из Склада с туесами, поспешаешь к себе в избу, нет-нет да и пощупаешь в туесах-то: все ли мое тут? Может, недоложили чего? Али сзади кто подкрался в переулке да и поживился, цопнул?

А бывает. Шла раз матушка со склада, а выдали ей воронье перо. На перину. А оно же легкое, несешь – будто и нет ничего. Пришла домой, холстину отдернула – батюшки-светы: пера нету, а вместо пера – говёшки. Ну, матушка в слезы, а отец хохотать. Ведь какой тать веселый оказался: не только добро попер, а еще и выдумку учудил, да с подковыринкой: вот, дескать, цена перу-то вашему. На-кося!

А объявилось перо у соседа. Отец его тягать: где взял? На торжище. На что сменял? На валенки. У кого? Сосед начал не знать: да я что, да я ничего, да я ржави упился, – что с него возьмешь. Так и отстали.

Ну что в Складе дают? Казенную колбаску из мышатинки, мышинное сальце, муку из хлебеды, перо вот, потом валенки, конечно, ухваты, холст, каменные горшки: по-разному выходит. Иной раз накладывают в туюсок запселей огнецов, – где-то они там провоняли, так их и выдают. За хорошими огнецами самому идти надо.

Вот в аккурат на восход от городка стоят клелевые леса. Клель – самое лучшее дерево. Стволы у нее светлые, смолистые, с натеками, листья резные, узорчатые, лапчатые, дух от них здоровый, одно слово – клель! Шишки на ней с человеческую голову, и орешки в них – объеденье! Если их вымочить, конечно. А то их в рот не возьмешь. На самых старых клелях, в глуши, растут огнецы. Уж такое лакомство: сладкие, круглые, тянучие. Спелый огнец величиной с человеческий глаз будет. Ночью они светятся серебряным огнем, вроде как месяц сквозь листья луч пустил, а днем их и не заметишь. Выходят в лес засветло, а как стемнеет, все берутся за руки и идут цепью, чтобы не потеряться. А еще чтобы огнец не догадался, что это, дескать, люди. Отрывать их надо быстро, чтобы огнец не всполошился и не заголосил. А не то он других предупредит, и они враз потухнут. Можно, конечно, и на ощупь рвать. Но не рвут. А ну как ложных наберешь? Ложные, когда светятся, будто красный огонь сквозь себя продувают. Вот такими-то – ложными – матушка в свое время и отравилась. А так бы жить ей да жить.

Двести тридцать лет и три года прожила матушка на белом свете. И не состарилась. Как была румяной да черноволосой, такой ей и глаза закрыли. Это уж так: ежели кто не тютюхнулся, когда Взрыв случился, тот уж после не старится. Это у них такое Последствие. Будто в них что заклинило. Но таких, почитай, раз, два и обчелся. Все в земле сырой: кого кысь испортила, кто зайцами отравился, матушка вот – огнецами...

А кто после Взрыва родился, у тех Последствия другие, – всякие. У кого руки словно зеленой мукой обметаны, будто он в хлебеде рылся, у кого жабры; у иного гребень петушиный али еще что. А бывает, что никаких Последствий нет, разве к старости прыщи из глаз попрут, а не то в укромном месте борода расти учнет до самых до колен. Или на коленях ноздри вскочат.

Бенедикт иной раз допытывался у матушки: отчего да отчего был Взрыв? Да она толком не знала. Будто люди играли и доигрались с АРУЖЫЕМ. Мы, говорит, и ахнуть не успели. И плачет. «Раньше, – говорит, – лучше жили». А отец – он после Взрыва родился – на нее опалается:

– Неча, мол, старое-то поминать! Как живем, так и живем! Не нами заведено!

Матушка ему:

– Мужичье! Каменный век! Хам!

Он ее за волосы таскать. Она в крик, соседей зовет, а соседи – ни гугу: правильно, муж жену учит. Не наше дело. Битая посуда два века живет. Он на нее почему серчал: она все молодая да молодая, а он на убыль пошел; на ногу припадать стал, и глаза, говорит, будто темная вода застит.

Матушка ему:

– Ты меня пальцем тронуть не смеешь! У меня ОНЕВЕРСТЕЦКОЕ АБРАЗОВАНИЕ!

А он:

– А я вот ты сейчас отшелушу: «абразование»! Я ты собью с пахвей! Дала сыну собачье имя, на всю слободу ославила!

И такое срамословие пойдет, такие перекоры – пока свою бороду не оплюет, не уймется. Крут был тятенька. Налаявшись, умается; нацедит браги полную криницу да и упёхтается до бесчувствия. А матушка волоса пригладит, подолом утрется, возьмет Бенедикта за руку и уведет его на высокий холм над рекою; там – он уж знал – она раньше жила, до Взрыва-то. Там матушкина пятиярусная изба стояла, а матушка сказывала, что и выше хоромы бывали, пальцев не хватит ярусы перечесть; так это что же: скидавай валенки да по ногам считай? Тогда Бенедикт только счету учился. На камушках ему считать еще рано было. А теперь, слышать, Федор Кузьмич, слава ему, счетные прутики изобрел. Говорят, будто деревяшечки просверлишь, на прутики нанижешь и справа налево перекидываешь. И такой, говорят, быстрый счет пойдет, только держись! Только сам счеты ладить не смей, а кому надо – приходи в базарный день на торжище, уплати сколько велено – холстом берут, мышами, – да и считай сколько влезет. Так говорят; правда, нет ли, – кто знает.

...Вот матушка на холм придет, сядет на камушек, плачет-заливается, горячими слезами умывается, то подруженек своих вспомнет, красных девушек,

то МОГОЗИНЫ эти ей представляются. А все улицы, говорит, были ОСФАЛЬТОМ покрыты. Это будто бы такая мазь была, твердая, черная, ступишь – не провалишься. Вот если погода летняя, сидит матушка, причитает, а Бенедикт в грязи играет, куличики из глины лепит, а то нарвет желтунчиков и в землю втыкает, будто тын городит. А вокруг раздолье: холмы, да ручьи, да ветерок теплый, ходит – траву колышет, а по небу солнышко колобком катится, над полями, над лесами, к Голубым горам.

А зовется наш город, родная сторонка, – Федор-Кузьмичск, а до того, говорит матушка, звался Иван-Порфирьичск, а еще до того – Сергей-Сергеичск, а прежде имя ему было Южные Склады, а совсем прежде – Москва.

Буки

Сызмальства Бенедикт ко всякой работе отцом приучен. Каменный топор изготовить – шутка ли? А он может. Избу срубить – срубит, хочешь – в угол, хочешь – в лапу, по-всякому. Печь сложить умеет. Баньку спроворить. Отец, правда, мыться не любил. Живет, говорит, медведь и не умывшись. А Бенедикту нравилось. Заползет в баньку, в теплое нутро, плеснет на камни яичного квасу, чтоб дух пошел, распарит клелевый веник и знай себя по бокам охаживать!

Умеет Бенедикт скорняжить, сыромятные ремешки из зайца резать, шапку сшить – ему все с руки. Да того зайца еще поди поймай. Только наладишь в него камнем попасть, а он порх! – и улетел. Так что все больше из мышиных шкурок одежду кроим, а оно не так сподручно. Известно: из большого выкроишь, а из малого зубами не натянешь.

Короче, все по хозяйству может. Да и как иначе? Федор Кузьмич, слава ему, объявил: «Хозяйство – дело рук каждого, разбирайся сам». Отец Бенедикта до самой смертной истуги в дроворубах ходил и Бенедикта думал к тому ремеслу пристроить. А Бенедикт хотел в истопники податься. Заманчиво. Истопнику – почет и уважение, все перед ним шапки ломают, а он идет – никому не кланяется, чванливый такой.

И то сказать: куды ж без огня? Огонь поит, огонь кормит, огонь греет, огонь песенки поет. Умрет огонь – и нам на лавки ложиться, глаза камушками

закрывать. А было время, говорят, огня не знали. Как же жили? А так и жили: ползали во тьме, как слепые червяки. А принес огонь людям Федор Кузьмич, слава ему. Ах, слава ему! Пропали бы мы без Федора Кузьмича, ей-ей, пропали бы! Все-то он возвел и обустроил, все-то головушкой своей светлой за нас болеет, думу думает! Высоко вознесся терем Федора Кузьмича, маковкой солнце застит. День и ночь не спит Федор Кузьмич, все по горенке похаживает, пышную бороду поглаживает, о нас, голубчиках, кручинится: сыты ли мы, пьяны ли мы, нет ли в чем нам досады какой али увечья какого? Есть у нас малые мурзы, а Федор Кузьмич, – слава ему, – Набольший Мурза, долгих лет ему жизни. Кто сани измыслил? Федор Кузьмич. Кто колесо из дерева резать догадался? Федор Кузьмич. Научил каменные горшки долбить, мышей ловить да суп варить. Дал нам счет и письмо, буквы большие и малые, научил бересту рвать, книги шить, из болотной ржавы чернила варить, палочки для письма расщеплять и в те чернила макать. Научил лодки-долбленки из бревен мастерить и на воду спускать, научил на медведя с рогатиной ходить, из медведя пузырь добывать, растягивать тот пузырь на колках и этой плевой окна крыть, чтобы свету в окне и зимой хватало. Только медвежью шкуру да мясо взять себе не могли: малые мурзы зорко надзирают. Не дело простому голубчику медвежью шкуру носить. И то понять надо: как же мурзе без шубы в санях ездить? Живо обморозится. А мы пешком бегаем, нам жарко, глядишь – и зипун рассупонишь, упаришься. Хотя другой раз и засвербят пустолетные мысли: вот бы и мне сани, да шубу, да... Но это все своеволие.

Ох, хотел Бенедикт податься в истопники. Но матушка – ни в какую. Только в писцы, дескать. Отец его в древорубы сманивал, матушка в писцы толкала, сам мечтал, как пройдет посередь улицы – весь из себя чванный такой, борода кверху, огневой горшок за собой на веревке тащит – только искры из дырок сыплются. Да и работка нетяжкая: набрал углей у Главного Истопника, Никиты Иваныча, домой отволок, печь растопил, а сам сиди и в окошко зевай: беспременно постучится соседский голубчик, а то и с Глухого Конца, с дальней стороны прибредет:

– Батюшка истопник, Бенедикт Карпыч, дай огоньку! Моя-то дура зазевалась, а печь возьми да и погасни. А мы только-только собрались оладьи спроворить, что ты будешь делать...

Вот нахмуришься, закричишь будто спросонья, оторвешь нехотя задницу от лежанки али тубаретки, потянешься так сладко, – потягу?у?ушеньки! – почешешь в голове, сплунешь и неудовольствие изображаешь:

– Вот у вас и все так! Мудилы гороховые... Огня сберечь не могут... На всех, голубчик, угольков не напасёшься! За угольками знаешь куда ходить надо-то?.. Аааа, то-то... Ноги, чай, не казенные. Ну, народ, ну, народ... Другой бы плюнул, зарекся с вами связываться... Ходют и ходют. Сами не знают, чего ходют... Ну, чего тебе? Угольков?

Так вот спрашиваешь, будто сам не видишь, чего ему надо, и смотришь хмуро, и пасть кривишь на сторону, будто во рту с утра воняет или будто сейчас стошнит. А это по должности. Должность у служивого человека такая. Голубчик опять занает:

– Бенедикт Кааарпыч, бааатюшка, выыыручи, роднооой. Уж как помнить буду... Уж как помнить... Да вот я... вот оладушков горяченьких... принес вот тут... подостыли малость... не взыщи...

Тут надо буркнуть себе под нос: «Оладушков...», но самому не брать, борони Боже, – голубчик все знает, он сам тихо в уголок положит все, что надобно, а ты все: «оладушков...», – злобно так, но не пережимая. Чтоб голос эдак на снижение пошел, на ворчание. А сам неспешно, с оттяжками, совком уголочков загребешь и, через плечо, голубчику: «Горшок принес?..» – «Как же, как же, батюшка, выручил, родной...» – ну и чуток ему и насыплешь. Когда вот эдак-то, по-государственному, к делу подход имеешь, тут тебе и от людей уважение – строгий какой истопник-то наш, батюшка! – скажут, да и сурпризы после людей-то остаются. Как дверь за голубчиком закроется, эдак украдкой в окошко глянешь: ушел?.. и к сверточку. А интересно, что принес-то. Может, правда, оладушков. Может, сала. Яйцо печеное. Другой, кто победней, просто ржави нарвет. Тоже сгодится.

Эх?х?х, размечтаешься другой раз!.. Да вышло по-матушкиному. Уперлась: три, говорит, поколения ЭНТЕЛЕГЕНЦЫИ в роду было, не допущу прерывать ТРОДИЦЫЮ. Эх?х?х, матушка!!! К Никите Иванычу бегала шушукаться, и в избу его за рукав приволакивала, чтоб вместе на отца давить, и руками перед носом крутила, и в визг ударялась. Отец и плюнул: да оййй... да провалитесь вы все, да чтоб вам... да делайте что хотите... Только потом не жалобьтесь.

Так что вышло по-еёному. Выучил Бенедикт азбуку, али, по-научному, алфавит, накрепко, – а это просто: А, Б, В, Г, Д, Е, можно и Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я, – а еще, конечно, наука всякой букве научное название дает: «люди», а то «живете», а то «червь». И ходит теперь

Бенедикт на работу в Рабочую Избу. Ну, труд тоже недурной. Придешь, а там уж натоплено, свечи из мышиного сала зажжены, сор выметен – благолепие. Выдадут ему берестяные тетради, выдадут свиток, откуда списывать, пометят: от сих до сих, – и сиди себе в тепле, перебелиай. Только места для рисунков оставляй. А рисунки после Оленька-душенька своей белой ручкой наведет: курочку нарисует или кустик. Не сказать, чтоб похоже, а все глаз побалуует.

А списывает Бенедикт то, что Федор Кузьмич, слава ему, сочинил: сказки, или поучения, а то стихи. Уж такие у Федора Кузьмича, слава ему, стихи ладные выходят, что иной раз рука задрожит, глаза затуманятся и будто весь враз ослабеешь и поплывешь куда-то, а не то словно как ком в горле встанет и сглотнуть не можешь. Которые стихи ясные, каждое слово понятно, а которые – только головой покрутишь. Вот наемни Бенедикт перебелиал:

Горные вершины

Спят во тьме ночной;

Тихие долины

Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,

Не дрожат листы...

Подожди немного.

Отдохнешь и ты.

Тут все и дураку ясно. А вот:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок,

сей поезд журавлиный,

Что над Элладю когда-то поднялся...

– здесь только крякнешь и в бороде почешешь. А то вот еще:

Нард, алой и киннамон

Благовонием богаты:

Лишь повеет аквилон,

И закаплют ароматы.

Эка! Ну-ка, поди ж тут разбери, что куда закаплет. Да, много всяких слов знает Федор Кузьмич, слава ему. Да и на то он и поэт. Работа не из легких. «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды», – говорит Федор Кузьмич. Это он ради нас так изводится. А ведь у него и помимо того дел невпроворот.

Говорят, надумал он из дерева кривую палицу резать да в дугу ее гнуть, а называть ее велено будет коромыслом. Нам все равно, хозяин – барин, можно и коромыслом, а зачем, почему – не наше дело. И носить на той дуге жбаны с водою, чтоб руки не оттягивало. Может, к весне кому эти коромысла в Складе и выдадут. Спервоначально санитарам, не к ночи будь помянуты, после – мурзам, а там, глядишь, и нам перепадет. А уж весна на носу. Ручьи побегут, цветики пойдут, красные девушки сарафаны наденут... Размечтаешься! Вот и Федор Кузьмич сочинил:

О весна без конца и без краю!

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь, принимаю,

И приветствую звоном щита!

Только почему «звоном щита». Ведь щит-то для указов – деревянный. Ежели когда приколачиваешь указ о дорожной повинности, али чтоб не смели самочинно сани ладить, али у кого недоимки – мало мышиноного мяса сдал, к примеру, – али Складской День в который раз переносят, – то щит не звенит, а глухо так побрякивает. Да и ведь ему закон не писан, Федору Кузьмичу-то, слава ему. Он ведь сам-то про себя что говорит: «Гордись, – говорит, – таков и ты, поэт, и для тебя закона нет». Так не нам же ему и указывать.

С Бенедиктом в Рабочей Избе и другие писцы рядком сидят. Оленька, душенька, рисунки рисует. Хороша девушка: глаза темные, коса русая, щеки – как вечерняя

заря, когда к завтраму ветра ожидаем, – так и светятся. Брови – дугой, али, как теперь велено будет звать, коромыслом; шубка заячья, валенки с подошвами – небось семья знатная; на работу Оленьку в санях отвозят, после работы опять сани ждут, да не простые: тройка. Под шлеей перерожденцы ногами топчут, перебирают; коренник норовистый, того и гляди зубами хватит, а пристяжные и того пуще. Как к Оленьке подступишься? Бенедикт только вздыхает да искоса посматривает, а она уж знает, лапушка: глазыньками моргнет да головкой-то эдак подернет. Скромница.

...Вот идет Бенедикт на работу, по сторонам посматривает, Истопникам кланяется, от саней сторонится, морозцем дышит, синим небом любит. Зазевался на красавицу, что мимо семенила, тындых! – и в столб врезался. О?о, чтоб вам всем и так и эдак, и разэдак, и перетак! Понаставили не знай чего, блин!..

Столбы эти ставит Никита Иваныч, Главный Истопник. Матушки, покойницы, старинный приятель. Тоже из Прежних. Лет ему, наверно, триста, а то и больше, кто знает. Кто время подсчитает? Разве мы знаем? Зима-лето, зима-лето, а сколько раз? – ведь собьешься, думавши. Пальцев?то десять, да на ногах – десять, правда, у кого и по пятнадцать растет, у кого по два, а вот, к примеру, у Семена, что с Мусорных Прудов, на одной руке много махоньких пальчиков, ровно корешки, а на другой – и вовсе кукиш. Такое ему Последствие вышло.

Этот Никита Иваныч с матушкой водился. В из-бу придет, ноги вытрет, – «разрешите?» – на тубаретку плюхнет и давай заводить разговоры про Прежнее.

– Полина Михайловна, а Кузминского помните? Ха-ха-ха. А как Вайсман приезжал, помните? О?хо-хо. А Сидорчук-то, сволочь, помните, все доносы писал, и где теперь те доносы? Пыль, всё пыль! А как Ляля кофе варила! Кофейку бы сейчас...

Матушка то хохотать, то всхлипывать, то ей МОГОЗИНЫ из ума нейдут, то вдруг: зачем бы это Сирень пропала; Сирень – это вроде цветов таких, на деревьях, сказывают, росла, и запах от нее был знатный. Тятенька эти разговоры страсть как не любил, выбежит во двор и ну дрова рубить: хэkk! хрясь! хэkk! хрясь! Злись не злись, а слово поперек Никите Иванычу как скажешь? – как есть он Главный Истопник.

Всякую работу Бенедикт знает, все делать может, да и другие голубчики чай не безрукие, а огня добыть не могут. Принес-то огонь людям Федор Кузьмич, слава ему, а только как дело было, где он тот огонь взял, нам неведомо. Тут хоть три дня думай, не додумаешься, а только разве голова заболит, как если яичного квасу перепьешь. Кто говорит: с неба свел, кто рассказывает, будто топнул ножкой-то Федор Кузьмич, слава ему, и на том месте земля и загорись ясным пламенем. А все может быть.

А надзирает за огнем Никита Иваныч. Все Малые Истопники к нему за огнем ходят, в каменные горшки с дырками углей набирают и к себе в избы волокут. Ох работа хорошая!.. Ох хорошая! Дома сиди, в окно гляди да голубчиков с сюрпризами дожидайся. День-деньской голубчики на работе: кто в Рабочих Избах порты просиживает, кто на болоте ржавь собирает, кто в полях репу сажит, кто что. А печь, она присмотр любит; опоздал домой – глядь, она и погасла. Зазевался – а угольки-то и остыли. Вот только что, вот сейчас гулял по ним синий огонек, и каждая-то деревяшечка сызнутри как живая светилась, красная, прозрачная, будто в ней кто дышит али слово сказать хочет, – и вот уж все. Молчит, серая, тупая, словно в ней кто умер.

Дак он и умер. Огонь-то. Да?а?а?а... Не понять. Тайна.

А где тайна – там и служба государева.

Веди

Росту Никита Иваныч небольшого, телом щуплый, бороденка паршивая, глазки махонькие, как у курицы, а на голове волосищ – ужаси. Он в Превнее Время, до Взрыва, совсем стариком был, кашлял, помирать собирался. Это он матушке любил рассказывать, по сту раз повторял, вроде как гордился. А тут, говорил, это хозяйство как жажнет – и вот он я. И живу, говорил, и помирать, голубчики, решительно не намерен. И не уговаривайте.

Матушка, та тоже помирать не собиралась, да огнецы, проклятые, подвели. А после матушкиной смерти Никита Иваныч не то чтобы что, а вроде как молчать больше начал, людей сторониться. Оно понятное дело: Превних, почитай, и нет почти, разве что перерожденцы, да они вроде как и не люди, а с нынешними

голубчиками, с нами то есть, того разговору уж не заведешь. Да и то сказать: Прежние наших слов не понимают, а мы ихних.

А то другой раз такую чушь сморозят, как дети малые, ей-богу. Вот когда матушка с тятенькой еще живы были, хозяйство, конечно, крепше стояло. И курье держали, и червырей запасали толченых, и Котя был: мышей ловить. Да матушка ленива была и непрворна. Летом, в самую пору, ей бы яиц-то напасть - чтоб зимой квас-то варить. Ведь осень придет, холода нападут, курье на юг соберется, еще воротится ли? Тут давай поворачивайся!

А она другой раз: а давайте, говорит, запрем их, пусть дома сидят, круглый год нам яйца несут. Ну?! Щас, удержишь их! Давай, лови за ноги! Клювом тебе в лоб дадут, да и вся недолга! А то еще: а жаль, говорит, что их есть нельзя: я бы курочку с удовольствием покушала. Смех и грех; тятя так смеялся! Шеболда ты, говорит, шеболда! голова твоя пустая! Клим Данилыч так-то вот покушал курочку: и где он теперь? Мало, что сам помре, да как помре: весь черный стал, раздулся как колода и лопнул; да мало того: у его на могиле вся земля осемши и провалимши, и огни там бродят нехорошие, холодные, и вонь такая, что два раза посылали мужиков песком могилу-то завалить, а все по-прежнему.

И Никита Иваныч туда же: ничего не понимает, а говорит. Раз говорит: никакой, говорит, кыси нет, а только одно, говорит, людское невежество. Эвона как. А кто людям жилу-то рвет? Кто из шеи кровь пьет?! А?! Не знаешь, дак и молчи. Помалкивай в тряпочку.

Дак этот Никита Иваныч начал по всему городку столбы ставить. У своего дома на столбе вырезал: «Никитские ворота». А то мы не знаем. Там, правда, ворот нет. Сгнивши. Но пусть. В другом месте вырежет: «Балчуг». Или: «Полянка». «Страстной бульвар». «Кузнецкий мост». «Волхонка». Спросишь: Никита Иваныч, вы чего? А он: чтоб память была. Пока, говорит, я жив, а я, говорит, как видишь, жив всегда, желаю внести свой посильный вклад в восстановление культуры. Глядишь, говорит, через тыщу-другую лет вы наконец вступите на цивилизованный путь развития, язвы вас в душу, свет знания развеет беспробудную тьму вашего невежества, о народ жестоковыйный, и бальзам просвещения прольется на заскорузлые ваши нравы, пути и привычки. Чаю, говорит, допрежь всего, РИНИСАНСА духовного, ибо без такового любой плод технологической цивилизации обернется в ваших мозолистых ручонках убийственным бумерангом, что, собственно, уже имело место. Засим, говорит, не смотри на меня аки козел, исподлобья, взглядом тухлым; когда слушаешь,

рот широко не раззяывай и ногу об ногу не заплетай.

Ну, голубчики спервоначалу озлобились – страсть. Утром встанешь, глаза подерешь, а у тебя перед самым окном орясина торчит: «Арбат». Свету в окошке и так мало, зимой, с пузырем, и того меньше, а тут, понимаешь, арбат этот как срамной уд на свадьбу собрамшись. Ну и выворотят его к такой-то матери: на растопку пустят или полы латать. Человеку озлиться долго ли: палец покажи, он и озлился. Никите Иванычу по шеям не накладаешь: начальство, а соседнему голубчику – с нашим удовольствием. Сосед – это ведь дело не простое, это не всякий-який, не прохожий, не калика перехожий. Сосед человеку даден, чтоб сердце ему тяжелить, разум мутить, нрав распалать. От него, от соседа, будто исходит что, беспокой тяжелый али тревожность. Иной раз вступит дума: вот зачем он, сосед, такой, а не другой? Чего он?.. Глядишь на него: вот он вышел на крыльцо. Зеваает. В небо смотрит. Сплюнул. Опять в небо смотрит.

И думаешь: чего смотрит-то? Чего он там не видел? Стоит-стоит, а чего стоит – и сам не знает. Крикнешь:

– Эй!

– Чего?..

– А ничего! Вот чего. Расчевокался, чевокалка... Чего расчевокался-то?..

– А тебе чего?

– А ничего!

– Ну и молчи!

– Сам молчи, а то щас как дам!

Ну и подерешься другой раз, когда и до смерти, а то просто руки-ноги поломаешь, глаз там выбьешь, другое что. Сосед потому что.

С этими столбами сначала много смертоубийств было, а опосля, как водится, попривыкли, просто «арбат» соскоблят и новое вырежут: «Здесь живет Пахом» или матерное. Матерное интересно вырезать. Никогда не скушно. Вроде и слов немного, а слова-то все веселые такие. Бодрые. Ежели человеку сурьезное настроение, ежели плакать хочется или истома найдет, слабость, – никогда он матерного не скажет и не напишет. А вот если злоба душит или смех разбирает, а еще если сильно удивишься, – тогда оно как-то само идет.

Глаголь

Вот Никита Иваныч столбов понаставил, а Бенедикт об них голову разбивай. И желвак теперь вскочит. Вот досада-то. Девушки небось хихикать будут, шептаться. А то язык высовывать. А то и вслед из-за ворот кричать, дразниться: «Желвак! Желвак!» А то забежит какая вперед тебя на тропку, поперек пути встанет, подол задерет и голую жопу покажет: чтоб обидно стало. А и впрямь обидно, до слез. А другие, кто по избам попрятавшись, от хохота прям увизжатся, как русалки какие: визг столбом стоит, а кто визжит – и не видать, хоть ты головой верти, хоть ушами, хоть чем. А от этих изоб-то, где визжат, глядишь, визг-от и на другие избы перекинется, что в заднем ряду, а там и по третьему ряду пойдет, а там и по всей слободе, это уж оно всегда так, будто зараза какая, будто пожар пыхнул и ветер пламя гонит от двора ко двору, не приведи господь, а вот ты поди-ка, в любой обиход торкнись, сапогом дверь-то рассундучь да крикни, расвирепемши: «Ну чо?! Чо расклекотались-то, козлы?! Что смешного-то?!» – дак и не скажут. Не знают.

Дак вот поди ж ты, какая от жопы обида тяжелая, даром что другой раз на голых смотреть – оно интересно: мысли всякие играют, сердце стучит, и не заметишь, как и время пролетит. Да, другой раз интересно, а тут вот нет, и отчего бы это?

А оттого, знать, что умысел супротив тебя направлен, чтоб помнил ты свое место: ниже нижнего – и не высовывался. Ежели кто над тобой посмеялся – он словно как бы власть свою показал, а ты, брат, словно в ямку скатился.

А и тут есть об чем подумать. Ежели б все это так просто было, отчего же малые мурзы, что за нами надзирать приставлены, никогда не смеются? Отчего смотрят

так, будто тебя из поганого чулана уполовником зачерпнули? Разговаривают, зубов не разжамши, будто бы у них во рту чего ценное, дак вот как бы оно не выпало, а то ты хватать и бежать сломя голову? А глазами-то какими смотрят: напустят во взгляд мути и так это: вроде и неподвижно, а вроде и насквозь? А еще... хотя нет, нет, это, должно быть, своеволие. Нет, нет, не надо думать. Нет.

...Да, вот понаставил столбов дурной старик, прости господи, а Бенедикт, чего доброго, еще прозвище на всю жизнь получит: Желвак. Как другим-то голубчикам прозвища бывают дадены: Гнилоед, или Трясогуз, или другое какое, смотря что заслужил, привычка ли у него какая настырная, или Последствие особо дурное, или что. У Бенедикта вот никаких Последствий отродясь не было, лицо чистое, румянец здоровый, тулово крепкое, хоть сейчас женись. Пальцев – он считал – сколько надо, ни больше ни меньше, без перепонок, без чешуи, даже и на ногах. Ногти розовые. Нос – один. Два глаза. Зубы – что-то много, десятка три с лишним. Белые. Борода золотая, на голове волосья потемней и вьются. Тож на животе. На титьках тож. Пуп – где и должен быть, в аккурат посередке. Срамной уд тоже посередке, пониже. Хороший. Как все равно гриб лесной. Только без пятнушек. Хоть сейчас достань да любому покажи.

И где ж он столб этот вторнул-то: у самой Рабочей Избы. Разве это не своеволие? Ведь саням поворотить негде будет! Бенедикт захватил в пригоршню снегу, приложил к желваку и стоял, разбирая надпись: «Первопечатник Иван Федоров». Ишь ты какой борзой! А ну-ка, выворотить его. Бенедикт поднатужился, обхватил дуру-то эту тяжелую, дернул да и выворотил. Да и бросил. Да ногой пнул. Поглядел по сторонам. Никого. Жаль, что Оленька али другие девушки не видали, какая в нем силища-то, в Бенедикте.

А в Избе уж наро-о?одуууууууу... Тьма-тьмущая. И Оленька-душенька тут... Сидит, зарумянившись, глазки опустила. А на Бенедикта все же зыркнула. Хорошо. И Варвара Лукинишна тут – с Оленькой разговоры заводит, беседы бабские беседует. И Ксения-сирота. И Васюк Ушастый.

Скоро объявят: начинай работу. Хорошо, что не опоздал. Опоздать-то оно ничего, да пойдут переглядывания да перешептывания: а не заболел ли, боже упаси, боже упаси? Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы. Правда, сколько Бенедикт помнил, никто в ихней Избе еще ни разу не заболел, тьфу, тьфу, тьфу. Горло першит или голову ломит – это не Болезнь, боже упаси, боже упаси. Палец переломил или глаз подбил – тоже не Болезнь, боже упаси, боже упаси. Икота

иной раз нападет – тоже не Болезнь, боже упаси, боже упаси. Ежели икота напала, скажешь три раза:

Икота, икота.

Иди на Федота,

С Федота на Якова,

С Якова на всякого, –

она и уйдет. Али ячмень, к примеру, на глазу выскочит – ну, тут заговор нужен покрепше, чтоб держалось. Три раза дунуть, да три раза плюнуть, да на одну ногу встать, да на ней и стоять, а рукой-то за вторую ногу ухватить и так ее и держать, ни боже мой не падать. И говорить:

Ячмень-ячмень,

Жичинка-жичинка,

Кукиш-кукиш.

На кукиш ничего не купишь.

Купишь топорок,

Разрубишь жичинку поперек.

И вот как рукой его снимет, ячмень-то этот. А это не Болезнь.

А какая она, та Болезнь, и когда придет, и что тогда будет – никому не ведомо. Да о том и не говорят. А ежели и говорят, то шепчутся. А ежели и шепчутся, так только когда поблизости нет Васюка Ушастого.

А что он подслушивает, все знают. Так уж положено. А ушей у него видимо-невидимо: и на голове, и под головой, и на коленках, и под коленками, и в валенках – уши. Всякие: большие, малые, круглые, длинные, и просто дырочки, и трубочки розовые, и вроде щели, и с волосами, и гладкие – всякие. Спросят его:

– Васюк, куда тебе ушей столько?

А он:

– А это не уши.

– А что ж тогда? – и сунут ему для смеха в ухо огрызок, али окурок, али другую дрянь какую. А главные-то уши, которыми он подслушивает, под мышками растут. Так что если он за работу принимается, то локти растопыривает, чтоб сподручней слушать было. И чуть от досады не плачет: что ж это за секреты такие, когда всем видать: растопырился – стало быть, подслушиваешь.

А у Варвары Лукинишны тоже беда: страшна, голубушка, хоть глаза закрывай. Голова голая, без волоса, и по всей голове петушины гребни так и колышутся. И из одного глаза тоже лезет гребень. Это «петушиная бахрама» называется. Но это тоже не Болезнь, боже упаси, боже упаси. Это Последствие. А так баба она хорошая и пишет красиво и чисто. И если у тебя чернила вышли, всегда своих нальет.

А бахрама – это не Болезнь, боже упаси, боже упаси. И санитарам приезжать не надо, нет, нет, нет.

А тут ударили в колотушку: начинай работу. Бенедикт сел за стол, поправил свечу, поплевал на письменную палочку, брови поднял, шею вытянул и глянул в свиток: что нынче перебеливать досталось. А достались «Сказки Федора Кузьмича».

«Жили были дед да баба, – строчил Бенедикт, – и была у них курочка Ряба. Снесла раз курочка яичко, не простое, а золотое...» Да, Последствия! У всех Последствия! Вот и у Анфисы Терентьевны прошлый год тоже с курами беда вышла. И ведь какие куры были: ладные, крупные, как на подбор. Яйца несли черные да мраморные – залюбуешься! Квас из тех яиц сразу в голову ударял. Хватанешь такого квасцу ковшик и сразу – ввух! Доблесть проявлять охота. Смотришь вокруг – а все двойное. Вон девушка пошла – а вроде как ее две. Крикнешь:

– Девчата! Айда со мной баловаться!.. – она и бежать без памяти. Обхохочешься-и!.. На Анфису Терентьевну смотришь – а ее тоже две. Но! – к ней баловаться не подъезжай, а не то выйдет Поликарп Матвеич, а его тоже двое, а этого нам

не надобно, он и один страшен.

А как эти куры-то пели! Бывало, лето, вечер смеркается, месяц на небо всходит, заря догорает, роса пала, от цветов запах пошел. Добры молодцы да красны девушки на завалинку сядут, орешки моченые грызут, огнецов кушают, вздыхают, а то толкаются да щиплются. Вот как первая звездочка на небо выкатится, куры и запоют. Сначала щелкают как деревяшечки, потом тррррр, тррррр, потом бу-бу-бу, а уж как распоятся – такие рулады грянут, уж так сердце разогреют, словно летишь куда, али бегом с горы бежишь, али стихи Федора Кузьмича, слава ему, из малопонятных, вспомнились:

В черном небе – слова начертаны –

И ослепли глаза прекрасные...

И не страшно нам ложе смертное,

И не сладко нам ложе страстное.

В поте – пишуший, в поте – пашущий!

Нам знакомо иное рвение:

Легкий огонь, над кудрями пляшущий, –

Дуновение – вдохновения!

А как придет осень с частым дождиком да с ветрами, все курьё по всей слободе на юг собирается. Ну, хозяева провожать выйдут, печалуются. Вот главная кура вперед выйдет, одну ногу выставит, крылом махнет – всем хором они и грянут напоследок. Споют на прощанье, взмоют под небеса, покружат над родимой сторонкой, а потом вытянутся в нитку и парами, курь-о?курь, и летят. Машешь им платком вслед, а бабы и всплакнут, бывало.

И вот эти куры взбесились. Летать перестали, петь бросили, осень прошла, зима на носу, все птицы на юг подались, а эти, бешеные, – ни в какую. Анфиса Терентьевна их метлой, хворостиной – упираются, хохлятся да еще будто и по-человечески заговорили. «Куда-а?» – спрашивают. А яйца из них поперли белые, страшные, крупные. Баба от страху чуть с ума не сошла. Бросилась Бенедикта на помощь звать, и вместе они тех поганных кур передушили. Одно яйцо для курьезу оставили. Бенедикт его после Никите Иванычу показал. Старик – вот

ничего не боится! – разбил яйцо о край миски, а там – Господи, обереги! – желтый жидкий шарик вроде как в воде плавает, а квасного-то солоду и нету... Обереги, господи! Старик на ноги вскочил, даже закричал: где остальные?! – страшным таким голосом. Успокоили его, усадили: все путем, не пугайтесь, Никита Иваныч, сами знаем, не маленькие. Всю пакостину извели, в курятнике березовым дымом помахали, чтоб снова не завелось нехорошего, и Гогу Юродивого приводили, чтоб заговор наложил: на четыре угла, на четыре двора, с?под моря зеленого, с?под дуба паленого, с?под камня горячего, с?под козла вонючего; тай, тай, налетай, направо дую, налево плюю, айн, цвай, драй. Заговор крепкий, проверенный, должно держаться.

Никита Иваныч за стол сел, глаза зажмурил, челюсти вот так вот сжал и сидел. Потом спросил, чего куры такое ели перед тем, как взбеситься. А почему мы знаем. Он и к Анфисе Терентьевне ходил расспрашивать, и думал долго. А шарик этот желтый, что в яйце завелся, он на сковороде обжарил и съел. Ей-богу, съел!!! И ничего ему не было.

Он вообще ест не как люди. Червырей не признает. Матушку, правда, тоже от них тошнило. А Бенедикт их с детства добывать наловчился. Бывало, играет в ручьях да в лужах с ребятами – в городке глинистых ручьев много, – непременно в воде руками шарит, червырей нащупывает. Червыри, они слепые, глупые. Вот наловишь парочку дюжин, на палочку нанижешь, высушишь, а потом и натолчешь. До того они соленые! К мышиному супчику наипервейшая приправа. Отец всегда Бенедикта хвалил, да и сам червырей лавливал, а матушка лицо скривит и руками машет. Раз Бенедикт Никите Иванычу целую связку подарил. Так они так и провисели на веревочке, старик и не притронулся. Соседка заглянула – огоньку попросить, – разохалась: добро пропадает. Он ей и отдал – всех до одного. А ведь их ловить – морока, столько грязи процедишь, пока червыря нащупаешь, да он еще вьется, за пальцы кусает. Попробуй-ка сам покопайся! А не соседям отдавать.

А то раз зашел Бенедикт к старику, а тот сидит и ложницей желтый клей ест, вот как на клелях, на стволах ихних, натеки бывают.

– Вы что это, Никита Иваныч?

– МЁТ ем.

– Какой МЁТ?

– А вот что пчелы собирают.

– Да вы в уме ли?!

– А ты попробуй. А то жрете мышей да червей, а потом удивляетесь, что столько мутантов развелось.

Бенедикт припужнулся, весь замрел и вышел бородой вперед сам не свой, не разбирая дороги. Страх-то какой: старик самолично к пчелам в дупло лазил... Потом, конечно, мужикам рассказал. Только головой pokrутили.

– Ну да. Пчела гадит, а мы ешь за ней?!

А Полторак – у него полтора лица, и третья нога растет – говорит:

– Что ж это нас Никита Иваныч на такие дела подбивает? А еще Истопник... А то, помните, на Муркину Горку парней водил, все хотел, чтоб землю рыли... Мол, ШАДЕВРЫ там погребены. А еще будто там доложен быть мужик каменный, огромный и сам ДАВИД. А у нас тут есть кому нас давить, лишней-то нам без надобности...

А это точно, он водил. Будто бы на Муркиной Горке МОЗЕЙ был в Превжнее Время, и будто бы там в земле камни белые закопаны, срамные. На манер мужиков и баб обтесаны, беспортошные; и титьки у них, и все. Оно, конечно, посмотреть бы интересно, а ну как это своеволие? Да и копать там – не перекопать. Да и на что бабы-то каменные, когда вон – живых полно? Дурит старикан. После за ним долго детишки ходили и вслед дразнили: «Никита Иваныч! Сними штаны на ночь! А как день – опять надень».

Так ничем дело и кончилось.

...Бенедикт вздохнул, вынул соринку из письменной палочки и быстро дописал сказку про Рябу. И место оставил, чтобы Оленька курочку нарисовала. А потом книжицу отнесут на торжище и на мышей сменяют. За связку мышей можно книжицу выменять. А мена только государственная, сам по своей охоте книжки

перебелять не смей, узнают – накладывают горячих.

А еще говорят... но это пусть Васюк Ушастый отойдет. А еще говорят, будто где-то есть книги старопечатные. Правда ли то, нет, но слух такой есть. Будто те книги еще до Взрыва были.

И врут еще, что в лесу есть полянка, а на полянке – горяч белый камень, а под камнем тем клад зарыт. Вот в темную ночь, когда ни месяца, ни звезд не видать, на ту полянку прийти, да непременно на босу ногу, да задом наперед идти, да еще приговаривать: «Не то беру, что прочь бежит, а то беру, что в земле лежит», а придя на место, три раза вокруг себя обернуться, да три раза сморкнуться, да три раза плюнуть, да сказать: «Земля отройся, клад откройся», – вот тогда пойдут туманы мороком, и из леса будет скрип слышать, и тот горяч камень отвалится, и клад откроется.

И там те книги схоронены, и светятся они как полный месяц. А больше одной не брать, не хватать, а схвативши, бежать прочь не оглядываясь, а если что не так сделаешь, то будто пелена пойдет перед глазами, а когда очнешься, глядь – а ты сидишь на своей избе верхом, на самой крыше, а в руках ничего и нет.

И будто у людей эти книги видели.

Добро

Ударили в колотушку: обед. До дому далеко, так Бенедикт ходил в Столовую Избу. За две бляшки можно обед из двух блюд получить. Не так наваристо, как дома, ну да разве дома так уж наваристо? Зато ходить недалеко. За Оленькой санки присылают, она дома кушает. Лапушка.

Вот привязалась к Бенедикту Варвара Лукинишна. Она давно на него одним глазом-то посматривает. Вы, дескать, в Столовую Избу? и я с вами. И бахрома у нее на голове колышется. Идти дак пойдем. Палец послунить, свечу погасить – долго ли?

В Столовой Избе народищу!.. Бенедикт Варвару Лукинишну с мисками к прилавку подтолкнул, чтоб в хвост встала, а то еще народу набежит, – а сам кинулся к столам и два места оттер. И ложки положил: тут мол, занято. И ногой перегородил, чтоб не совались. И локти пошире расставил. И лицом набычился: помогает.

Чужой разбежится место оттяпать, глянет Бенедикту в личико и, если духом послабей, отстанет: ну еще, подумает, с таким рылом связываться, не приведи господь; сяду в уголок, подальше... Так-то вот на всякое дело свое разумение есть.

Чад плывет. Миски пар дают, ложки стучат, свечи потрескивают. Жарко. Повара вопят истошными голосами:

– Кто ржавь в палате курит – выйди! Дышать же нечем!

Но никто, конечно, и не пошевелится.

Добралась Варвара Лукинишна с мисками. Почти не пролила, хоть и толкались знатно.

Так. Опять мышиный супчик. Государственная еда, конечно, не чета домашней. И вроде мыши те же, а вкус, конечно, не тот. Жидковато. Зато червырей в супчик бабахнуто – скулы свернешь. Вот червырей не жалеют. Пересаливают супчик. А так ложкой повозишь-повозишь – один хвостик мышиный. Ну, глазки. Ребрышки.

Конечно, и повара понять надо. Он небось тушки припрятывает, лучшие кусочки оттяпает и домой несет, детишкам.

А и всякий бы так сделал. Ведь одно дело – на чужого варить, на незнакомого: кто его знает, что за человек такой? А другое дело – на свое дитячко. Некоторые говорят: на всех, дескать, варить надо одинаково. Да где ж это видано?

Чужой, он и есть чужой. Что в нем хорошего? Если не девушка, конечно. Что хорошего? А может, ему и не так голодно, чужому. Может, он как-нибудь так, обойдется. Передумает есть.

А свой – он теплый. У него и глаза другие. Смотришь – и видишь: кушать хочет. Прямо чувствуешь, как у него нутро светло. Свой – он немножко как ты сам.

Варвара Лукинишна вздыхает:

– Я смотрю, они мышей нечищенных кладут.

– Говорят, работать некому.

– Я понимаю, но все-таки. Вот приходите ко мне, Бенедикт, я вас хорошим супом угощу.

– Благодарствую, Варвара Лукинишна. Как-нибудь – обязательно.

А у нее, бедняги, гребень петушиный из глаза так и прет. Хоть не гляди.

– Вот я вас все хочу спросить, Бенедикт. Вот я стихи Федора Кузьмича, слава ему, перебеляю. А там все: конь, конь. Что такое «конь», вы не знаете?

Бенедикт подумал. Еще подумал. Даже покраснел от натуги. Сам сколько раз это слово писал, а как-то не задумывался.

– Должно быть, это мышь.

– Почему вы так думаете?

– А потому что: «али я тебя не холю, али ешь овса не вволю». Точно, мышь.

– Ну а как же тогда: «конь бежит, земля дрожит»?

– Стало быть, крупная мышь. Ведь они как начнут возиться – другой раз и не уснешь. Ведь помните, Федор Кузьмич, слава ему, тоже пишет: «Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» Мышь это, точно.

– Странно все же как-то. Нет, вы меня не убедили.

Варвара Лукинишна много стихов наизусть знает. И все хочет понять что-то. А мало ли слов?то трудных! Другой плюнет, а ей вот надо, поди ж ты. И разговаривает по-книжному. Таким манером матушка разговаривала. Или Никита Иваныч.

Варвара Лукинишна одна живет. Вот она мышей наловит, на торжище снесет и на книги сменяет. И все читает.

- Знаете, Бенедикт, для меня стихи – это все. Наша работа – это такая радость. И вот я обратила внимание: Федор Кузьмич, слава ему, он как бы разный. Понимаете, что я хочу сказать? Он как бы на разные голоса разговаривает.

- На то он и Набольший Мурза, долгих лет ему жизни, – насторожился Бенедикт.

- Нет, я не о том... Не знаю, как вам объяснить, но я чувствую. Вот, скажем: «Свирель запела на мосту, и яблони в цвету. И ангел поднял в высоту звезду зеленую одну. И стало дивно на мосту смотреть в такую глубину, в такую высоту...» Вот это один голос. А вот, допустим...

- На мосту? – перебил Бенедикт. – Это, должно быть, Поганный Мосток. Знаю. Я там червырей ловил. Там, действительно, глубина порядочная. Там не зевай! Тютюхнешься – и поминай как звали. Одни пузыри пойдут. Там еще доска подгнила. Когда козляков гонят, непременно один да провалится. Я это место знаю. – И обсосал косточку.

- Нет, нет, я не о том. Вы прислушайтесь: «Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы, твой вестник – осиновый лист, он безгубый, безгласен, как призрак, белей полотна!» – ведь это же совсем, совсем другой голос звучит. Совсем другой.

- И посад я этот знаю! – закричал Бенедикт. – Там Пахому череп раскрыли.

Варвара Лукинишна головой качает, смотрит на свечу, и синенькое пламя у нее в единственном глазу так и дрожит.

- Нет, нет... Вот я все читаю, читаю... думаю, думаю... И я все стихи на разные стопочки разделила. И нитками заново тетрадки сшила. И знаете,

что интересно?..

– Вон Васюку Ушастому тоже интересно, – сказал Бенедикт. – Ишь растопырился. А стихи вы напрасно туда-сюда перешиваете. Это своеволие.

– Ах боже мой... Ну пойдете работать. Сейчас в колотушку ударят. – Варвара Лукинишна обвела глазом закопченную палату. Ржави накурили так, что не продохнешь. Синий дым висит до полу. В углу голубчики, кто свое поел, играют в щелбаны. Двое уже набрались квасу и лежат на полу. Васюк записывает: кто.

– Все же ресторан шумноватый, – вздохнула Варвара Лукинишна. – «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви...» Как вы думаете: смычки – это что?

– Какие-нибудь девчонки бедовые?

– Нет... Знаете, так хочется об искусстве поговорить... Приходите ко мне домой. Право, приходите!

– Ладно, зайду как-нибудь, – сказал Бенедикт с неохотой. Если бы она не такая страшная была, он бы, конечно, с удовольствием. В баньку попариться – а потом и в гости. А так – успеется.

А может, если зажмуриться, – оно и ничего. Баба добрая. Еще и супу нальет. Правда, что-то она всеми этими разговорами Бенедикта растревожила.

В Рабочей Избе все в сборе, а Оленьки нет. Бенедикт подождал, погрыз письменную палочку. Не идет. А это бывает: до обеда она на месте, а ввечеру не приходит. Стало быть, так надо. Не наше дело. А скушно.

Сел перебелять новую сказку: «Колобок». Смешная такая история, ужаси. Этот колобок и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от медведя, и от волка. По лесу знай себе катался. Песенки пел веселые, с прибаутками: «Я колобок-колобок, по амбару метен, по сусеку скребен, на сметане мешон, на окошке стужон!» Бенедикт радовался за колобка пишучи. Посмеивался. Даже рот открыл, пока писал.

А как дошел до последней строки, сердце екнуло. Погиб колобок-то. Лиса его: ам! – и съела. Бенедикт даже письменную палочку отложил и смотрел в свиток. Погиб колобок. Веселый такой колобок. Все песенки пел. Жизни радовался. И вот – не стало его. За что?

Бенедикт сглотнул и обвел глазами избу. Все пишут, склонились. Свечи помаргивают. Медвежьи пузыри на окнах синевой отливают. Вечер уже. Никак и метель собралась. Наметет высокие сугробы, засвищет по улочкам, занесет избы по самые окна. Застонут высокие деревья в северных лесах, выйдет из лесу кысь, подступит к городку, завоет жалобно: кы-ысь! кы-ысь! А над городком снежный ветер бушует, над теремами завивается, далеко разносит дикую жалобу.

Представилось Бенедикту, как сидит он в детстве на печи, свесив валенки, а за окном метель гуляет. Трещит синеватая свечка из мышиного сала, тени под потолком пляшут, матушка у оконца сидит, вышивает цветными нитками полог или полотенце. Из-под печки вылезает Котя, мягкий, пушистый, прыгает Бенедикту на колени. Матушка Котю не любит: если он за подол ей уцепится, всегда его стряхивает. Говорит, не может его голого розового хвоста видеть, морды с хоботком. И не нравится ей, что пальчики у него тоже розовые, детские. Будто в ее молодости звери эти совсем другими были. Ну, мало ли что раньше было! А не будь Коти, кто бы им столько мышей ловил и откуда бы они брали сало для свечек? А Бенедикт его любит. Протянешь ему палец, он обхватит ручонками и мурлычет.

А у матушки вроде бы старопечатная книга была. Только она ее прятала. Потому что они, говорят, заразные. Так что Бенедикт ее не только не трогал, но даже и не видел, и матушка строго-настрого запретила о ней говорить, будто ее и нет.

Отец ее сжечь хотел, боялся. Какая-то Болезнь от них, боже упаси, боже упаси.

И тогда Красные Сани приедут.

И в санях – санитары, не к ночи будь помянуты. Скачут они в Красных Санях – тьфу, тьфу, тьфу, – в красных балахонах, на месте глаз – прорези сделаны, и лиц не видать, тьфу, тьфу, тьфу.

И вот сидит Бенедикт на печи, а матушка вышивает, а метель за окном воеет, а свечечка чуть теплится, как огонек над болотной ржавью, и в углах темно, и отец уж спать собрался и одежду скидывает.

И вдруг как закричит: а?а?а?а! И глаза выпучил и на живот себе смотрит, а сам все кричит да кричит. А на животе у него вроде как сыпь, али будто кто его грязными ладошами обхлопал. А он кричит: «Болезнь! Болезнь!»

Матушка – ноги в валенки, платок на голову и в дверь: за Никитой Иванычем.

Отец:

– Сообщит! Сообщит! – и за подол ее хватает.

Это он что Никита Иваныч санитарам сообщит. Куда там! Вырвалась – и в метель.

Вваливаются с Никитой Иванычем. Тот:

– Ну, что еще? Покажите. Ну, что, ну, нейродермит. Мышей меньше есть надо. Само отвалится. Не чешите.

И вправду, прошло. А старопечатную книгу отец все же нашел и сжег. Он не так заразы боялся, как санитаров, не к ночи будь помянуты.

Потому что они забирают и лечат, и люди после того лечения не возвращаются. Никто еще не вернулся.

И страшно об этом подумать. А по улице идешь, и вдруг посвист и гиканье: Красные Сани несутся, а в них шестерка перерожденцев запряжена. И вот ты как есть, тулуп ли на тебе, зипун ли, летом рубаха, – бросишься так-то в сторону, в сугроб али в придорожную грязь, голову руками закроешь, сожмешься: господи, пронеси!.. Обереги!.. Вдавиться бы в землю, в глину уйти, слепым червырем стать – только бы не меня! Не меня, не меня, не меня, не меня!..

А они все ближе, а топот все громче – вот, накатило! Жар, и свист, и хрипло дышит шестерка, и комья грязи из-под полозьев... и пронеслись. Тишина. Только

вдали затихает тупая дробь валенок.

Я не болен, я не болен, нет, нет, нет. Не надо, не надо санитарам приезжать, нет, нет, нет. Боже упаси, боже упаси, нет, нет, нет.

Есть

Вот как Котя-то помер, так и мышей ловить стало некому. Голыми-то руками много ли наловишь? Конечно, наука на месте не стоит, бесперечь развивается. Бенедикт, бывало, петли ладит, смертные удавочки. Веревочку тугую из ниточек скрутит, мышиним сальцем хорошо натрет, с одного конца особо петлей завьет, чтоб скользила, на пальце проверит – и на охоту. Полы у нас щелястые, раззявые, да оно не столько от убожества нашего, сколько для того, чтоб мыши легче выходить было: давай, давай сюда, голуба! Сказывают, что у богатых голубчиков, у кого терема высокие, расписные, двухъярусные, – ежели он, к примеру, мурза или так разжирел, с жизни неправедной, – у тех все-то щели позаткнуты, так что и не дует даже в самый мороз. А как же еду добывают? А так, что у них в подполе особые холопы посажены, а научены те холопы на мышь бросаться, а больше они ничего не знают. Сидят они, сказывают, в подполе день-деньской, в темноте кромешной, а видят, как днем. А на свет им выйти нельзя, от дневного свету они враз слепнут, и вся их холопская мышеловная сила на том и кончается. А все может быть.

А мы народ простой, мы на пол брюхом ляжем, удавочку в щель запустим и ну подергивать. Мышь – она тварь глупая, ей самой интересно: что там за удавочка болтается? – вот она голову-то в петлю и сунь, а мы: тяфф! – и выдернем.

А что Федор Кузьмич, слава ему, научную вещь для нас измыслил, мышеловку, так это у людей тоже стоит, но без дела. В эту мышеловку, чтоб работала, надо еды кусок положить, а иначе мыши никакого интересу в нее заходить не будет. Зато вора́м интерес большой. Как ты из дому вон – вор-то, он дознается, что у тебя еда разложена, да и наведается. Обчистит и спасибо не скажет.

Воры – народ такой: они все берут. Мясо берут, вермишель, орехи, хлебеду, грибыши, если кто запасся, – все. Вот ржавь не берут. Ее всюду полно. Это уж каким лентяем надо быть, чтобы ржави не напастись! Но, правда, если уж очень

хорошая, сухая, пышная – тогда да. Тогда возьмут.

А и вора понять же надо. Вот идет он по слободе и видит: дверь у избы палкой подоткнута. Хозяев нетути. Их нетути, а в избе, может, мясо заячье. А?! Может это быть? Очень может быть! Может, мужик изловчился и сбил его, зайца-то, камнем, а может, сменял у соседей на яйца али хвощи? Может, ему талан вышел, зайца достать! Мысль-то и западет в голову. Пройдешь, может, мимо – так никогда и не узнаешь! Как же не зайти. Зайдет, оглядится. Коли точно, есть мясо – мясо возьмет, коли нет – обозлится, что промашка вышла, возьмет что есть, да хоть червырей. А уж ежели что взял, дак кто ж его удержит? Ай, думает, все равно изба обокрадена, уж одно к одному – и давай выносить все подчистую.

А у Бенедикта красть нечего. Запасов не держит, что поймал, то и съел. Только что и есть ржави полный чулан.

Ржавь чем хороша. Она в любое дело идет. Ее и курят, и пьют, и чернила из нее варят, и нитки красят, если кому охота полотенца вышивать. Брага из нее хороша, особенно когда мороз на дворе. Дом тоже утеплять можно: между бревен в пазы наткивать. А кто и крышу крыть ржавью пробовал, но – не вышло. Клубки круглые, жесткие – сваливаются. На крышу хорошо солома. Кто побогаче – доски тесовые.

Ее на трясине берут. Вот как выходной – все, чуть свет, туеса подхватят – и кто куда. Бенедикт одно место хорошее приметил. Там Никита Иваныч столб поставил: «Садовое Кольцо». Никакого, конечно, кольца там нет, одни избы рядами. Там уж и городок кончается. А в аккурат за избами – трясина, вся ржавью покрытая. Рви не хочу. Там даже местные тебя не шугают; другие побили бы, что ты к ним ходишь, а эти – нет. Вот идешь, поспешаешь спозаранку, зимой заря мутная, красная, холодом от нее тянет.

От зари роскошный холод

Проникает в сад, –

сочинил Федор Кузьмич.

Садов у нас, конечно, нету, это разве у мурзы какого, а что холодно – это да. Проникает. Валенки прохудились, нога снег слышит. Вот бежишь шибко-шибко, через Поганый Мосток, вверх на горку, потом опять вниз, мимо кохинорской слободы. Если кохинорец высунется, кинешь в него камнем для потехи, вроде согреешься, и дальше бежать. А почему кинешь, потому как кохинорцы эти не по-нашему говорят. Бал-бал-бал да бал-бал-бал – да и все тут, да и ничего не разберешь. А почему они так говорят, почему по-нашему не хотят – кто ж их знает. Может, назло. А может, привычка такая вредная, это тоже бывает.

А и то сказать, сами себе вредят. Что они там по-кохинорски-то сказать могут? По-нашему куда сподручней: сел, рассудил не спеша: вот так, дескать, и так; это вот и то-то. И все ясно.

А эти – вот поди ж ты, уперлись, и всё тут. Ну а кто говорит, что им просто носы мешают; дескать, они бы и рады сесть да побеседовать по-нашему, да вот носы. Носы у них до полу – право, смех один. Такое у них Последствие.

Наши, бывало, как делать нечего, соберутся вечерком у кохинорской слободы, на плетнях висят, головами крутят, хохочут. Эй, дескать, кохинорцы, чего носы-то поразвесили, ай лапти нюхать?.. А вот мы вам сопелки поотрываем!.. Те, бывало, забегают, сердитые такие – смех, ставни затворяют, детей в дом загоняют, да все бал-бал-бал! А если удачно камнем кинешь да в лоб такому попадешь, он аййй! – и за шишку не руками, а носом хватается, ну, тут вообще потеха, с плетней ребята наши падают.

А Иван Говядич, что на Мусорном Пруду избушку держит, – тот так эти шутки любит, что камнями загодя запасается: нароет у себя в огороде и в бочки складывает. Ребята, если в слободу собрались, мимо него нипочем не пройдут, он уж знает, в окошко поглядывает. Стой, ребята, меня возьмите, сам не дойду!

У Иван Говядича Последствия уж очень тяжелые. Голова, руки, плечи – это все крепкое такое, ладное, могучее, в три дня, как говорится, не обгадишь, а из-под мышек – сразу ступни, а посерединке – вымя. Это Никита Иванович так сказал: «вымя», а мы такого слова не знаем, да и ни к чему нам, да и в книгах такого слова нету, а по-нашему это сиська.

Ну, бывает и конфуз, конечно. Раз наши собрались дразнить кохинорцев, прихватили, кто ходячий, Иван Говядича на закукорки, тот две полные шапки

камушков набрал, поет, – а он и мастер же старинные песни распевать, бывало как заведет: «Эх, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, Ду, била Дуня Ваню колом на леду!» – да плечами-то поводит, да глазами-то поигрывает, зубы белые сверкают, – удаль молодецкая, да и только! – поет он, стало быть, а кохинорцы уж слышали, окна-двери позатворяли, попрятались, одного только старика на дворе позабыли. Ясно, ему от ребят за всех досталось. А этот старик вредный осерчал, да носом-то своим каменюгу, все равно как рукой, хватить! – да и звезданул Иван Говядичу по вымени. Тот: бульк! – и лежит. Ребята наши тоже обозлились: что это, наших бить, – и полслободы кохинорцам разворотили.

Ну это все больше в праздник, когда настроение хорошее, а в будни у всех дел полно, наши на службу государеву ходят, после суп варят или ржавь курят, а кохинорцы из мышинных хвостов торбочки плетут, туюски, да такие искусные, заковыристые, а после на торжище обменивают. А больше они ни на что не годятся, кохинорцы.

Вот, стало быть, мимо ихней слободы пробежишь, бросишь чем али так – и на трясину. За неделю ржавь свежая подросла, красноватая али как бы с прозеленью. Ее курить хорошо. А старая побурей будет, ту на краску али на брагу больше применяют. Вот в сухой листик мелкой ржавки напёхтаешь, самокруточку свернешь, в избу какую постучишь, огоньку у людей спросишь.

Ежели сразу в лоб не дадут, то, может, поворчат да и пожалуют – огоньку-то. Идешь, попыхваешь, и вроде теплей стало, вроде ты и не одинок, вроде и у голубчиков, что навстречу попадаются, рыла не такие зверообразные.

Живете

Нрав у Бенедикта переменчивый, это уж он и сам знает. День на день не приходится. То другой раз с утра такая бодрость вступит беспримерная, каждая жилочка так и напряжится: ых!!! Полсвета, думаешь, сворочу. Тогда руками работать охота. Вот под такое дело и ищешь себе занятие: рубить, али тесать, али что по дому ладить, топор али жбан соорудить, может, ведро выдолбить. Раз так вот дюжину тесовин для крыши обстругал. Право! Вот не дать соврать, дюжину! Ну не дюжину, так три штуки. Все равно много. И петь охота. Громко.

То скука плаксивая нападет. Это больше к вечеру. Особо по осени, а уж зимой-то едва ли не каждый день. Но и летом бывает.

Вот ввечеру, как солнце западать начнет – за волнистые поля, за синие горы, за дальние леса, куда никто и не хаживал, как тени длинные падут и будто тишина подступит, – вот тут оно и случается. Сидишь это на крылечке, покуриваешь, с соседями переругиваешься. Мошки в воздухе толкутся. Вот все птицы, все лесные пужалища вроде как приумолкли. Будто кто прошел и пальцем погрозил. А потом снова все враз начали, да уже другими голосами, ночными. Из дубравы шорох слышится, кулдыканье, чваканье, а иной раз засвиристит или мякает по-нехорошему.

Соседи говорят:

– Это русалка, язви ее.

А другие:

– Ну щас, прямо. Это древяница, у ей гнездо тута.

Тут баба-дура какая-нибудь встрянет:

– Может, это слеповран.

Все на нее и накинутся:

– От то-то ты и дура!!! «Слеповран»! Слеповран без голосу, на то он и слеповран!

Баба глупая опять вякнет:

– Может, он и слепой, а голос у его трубный. Я ж слышу, чай не глухая.

Все:

– Он слепой-то получше твоего видит! Что ему надо, он видит! У его вся сила-то в когтях! А не голос!

Хозяин – бабы этой муж – замечание ей делает:

– Ладно, баба, поговорила – и иди себе. Вари чего-нибудь. Много рассуждать стала.

Вроде бы все как всегда: беседуют, мысли сообщают, сомнения в природе выражают. А Бенедикту вдруг так-то тошнехонько станет! Будто вот тут вот, в середине, изжога припечет, а вокруг того печева, кольцом, – холод какой. И в спине тоже вроде неудовольствие. И за ушами тягучка. И слюна горчит.

Другой раз кому пожалуешься, а тебе и скажут:

– Это тебе кысь в спину смотрит.

Нет. Вряд ли. Непохоже. Это внутрих чего-то уклоняется, а может, как Никита Иваныч говорит, это ФЕЛОСОФИЯ.

Смотришь на людей – на мужиков, на баб, – словно впервые видишь, словно ты другой породы, али только что из лесу вышел, али, наоборот, в лес вошел. И все тебе в диковинку, в скучную диковинку. Вот, думаешь, баба: ну зачем она, баба? Щеки, живот, глазами мыргает, говорит себе чего-то. Головой вертит, губами шлепает, а внутри у ей что? Темнота мясная, кости скрипучие, кишки колечком, а больше и нет ничего. Смеется, пугается, брови хмурит – а есть ли у ей и вправду чувства какие? Мысли? А ну как она притворяется бабой, а сама оборотень болотный? Вроде тех, что по кустам гукают, в старой листве шуршат, скрипят ветвями, а себя не покажут? А вот ежели встать, подойти да проверить: пальцы рогулькой расставить да ей в глаза-то тыкнуть? Что будет? Вяк! – и упадет, верно?

Ну, ясно, крику не оберешься, мужики тебе по шеям накладывают, не посмотрят, что ты государственный писец, казенный голубчик, – разворотят тебе мордовасию; а ежели какой малый мурза дознание учинит – клясться будут и божиться, что это так и было, что синяя харя – это у тебя обычное Последствие, что и у родителей твоих такое же рыло неудобосмотримое на морде висело, и у бабушки.

Вот и сегодня, к вечеру, в аккурат на самом рабочем месте, невесть с какой причины у Венедикта внутрих ФЕЛОСОФИЯ засвербила. Мутно-мутно, как тень под водой, стало что-то в сердце поворачиваться, томить и звать, а куды? – и не скажешь. В спине как озноб какой, и на слезу потянуло. И то ли злоба разжигает, то ли летать хочется. Или жениться.

Колобок из головы нейдет, страшная такая история. Как он все пел, пел... Все катился, катился... На сметане мешон, на окошке стужон... Вот тебе и стужон.

Варвара Лукинишна тоже с разговорами с этими со своими неясными. «Конь» ей знать надо. Беспокойная какая. Мало ли что Федор Кузьмич, слава ему, в стихах выразит. На то и стихи, чтоб ни бельмесу не понимать. А что Федор Кузьмич, слава ему, на голоса разговаривает, так это что ж... Это, поди, всякий так. Вон Бенедикт: с утра из дому по солнышку шел, снегом поскрипывал, мысли всякие хорошие в голове вертел, и все ему было нипочем. А нынче, на ночь глядя, весь он словно другой: слабый и боязливый, и темь за окошком такая, что на улицу выйти – как в валенок головой, а надо. И Оленьки нет, а без нее в избе еще тошнее.

Ударили в колотушку: кончай работу.

Голубчики с мест повскакали, письменные палочки побросали, слюной свечи тушат, спешат, зипуны натягивают, в дверях толкаются. Шакал Демьяныч, малый мурза, столы обходит, готовые свитки в короб собирает, пустые чернильницы в туюса запихивает, письменные палочки ветошкой обтирает. Ворчит, что ржави много изводим, что палочек не напасесси, дак на то он и мурза, чтобы зудеть, людей язвить, а дана ему такая власть над нами, потому как он есть Ветеран Ледового Побоища. А что за Побоище, и в какие годы и с кем Шакал Демьяныч побивался, и много ли голубчиков уложил палицей али клюкой – про то не знаем, да и знать не хотим, да и скажут – не запомним.

Вот и кончен день, и погас, и отгорел, и пала ночь на городок, и Оленька-душа растворилась где-то в кривых улочках, в снежных просторах, как придуманная; и съеден мимолетный друг-колобок, и теперь Бенедикту поспешать домой, добираться по пригоркам, по сугробам, спотыкаясь, и падая, и зачерпывая снег рукавом, и нашаривая тропинку посреди зимы, и разводя зиму руками.

Зима – ведь это что? Это как? Это – вошел ты в избу с мороза, валенками топая, чтоб сбить снег, обтряхиваешь и зипун, и задубелую шапку, бьешь ее с размаху об косяк; повернув голову, прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым токам из горницы: не погасло ли? – не дай бог; рассупонившись, слабеешь в тепле, будто благодаришь кого; и, торопливо вздув огонь, подкормив его сухой, старой ржавью, щепками, полешками, тянешь из вороха тряпиц еще теплый горшок с мышинными щами. Пошарив в потайном укрытии, за печью, достаешь сверток с ложницей и вилицей – и опять будто благодарен: все цело, не поперли, вора, зная, не было, а коли и был, дак не нашел.

И, похлебав привычного, негустого супу, сплюнув в кулак коготки, задумаешься, глядя в слабый, синеватый огонек свечки, слушая, как шуршит под полом, как трещит в печи, как воет, подступает, жалуется за окном, просится в дом что-то белое, тяжелое, холодное, незримое; и представится тебе вдруг твоя изба далекой и малой, словно с дерева смотришь, и весь городок издалека представится, как оброненный в сугроб, и безлюдные поля вокруг, где метель ходит белыми столбами, как тот, кого волокут под руки, а голова запрокинулась; и северные леса представляются, пустынные, темные, непроходимые, и качаются ветки северных деревьев, и качается на ветках, – вверх-вниз, – незримая кысь: перебирает лапами, вытягивает шею, прижимает невидимые уши к плоской невидимой голове, и плачет, голодная, и тянется, вся тянется к жилью, к теплой крови, постукивающей в человеческой шее: кы-ысь! кы-ысь!

И тревога холодком, маленькой лапкой тронет сердце, и вздрогнешь, передернешься, глянешь вокруг зорко, словно ты сам себе чужой: что это? Кто я?

Кто я?!

Фу-ты... Это же я. Словно на минуточку себя выпустил из рук, чуть не уронил, еле успел подхватить... Фу... Вот что она делает, кысь-то, вот что она уже издалека с тобой делает, вот как она вынюхивает, чует, нашаривает, – через дальнюю даль, сквозь снежную бурю, сквозь толстые бревенчатые стены, а случись она рядом?..

Нет, нет, нельзя, ну ее, не думать о ней, гнать, не думать, вот засмеяться надо или сплясать – вприсядку пуститься, как на Майский Выходной, песню дробную, громкую запеть!

Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! Да разлюлюлечки ду-ду! Да трилялюшечки мои!
Да тритатушечки мои!!!

Вот так... Вроде легче... Искусство возвышает, учит Федор Кузьмич, слава ему.
Но искусство для искусства – это нехорошо, учит Федор Кузьмич, слава ему.
Искусство должно быть тесно связано с жизнью. «Жизнь моя! Иль ты
приснилась мне?» – может быть... Не знаю.

Да и что мы про жизнь знаем? Ежели подумать? Кто ей велел быть, жизни-то?
Отчего солнце по небу катится, отчего мышшь шебуршит, деревья кверху тянутся,
русалка в реке плещет, ветер цветами пахнет, человек человека палкой
по голове бьет? Отчего другой раз и бить неохота, а тянет словно уйти куда,
летом, без дорог, без путей, туда, на восход солнца, где травы светлые по плечи,
где синие реки играют, а над реками мухи золотые толкутся, неведомы деревья
ветви до воды свесили, а на тех ветвях, слышь, белым-белая Княжья Птица
Паулин. А глаза у той Птицы Паулин в пол-лица, а рот человеческий, красный.
А красоты она таковой, Княжья Птица-то, что нет ей от самой себя покою: тулово
белым резным пером укрыто, а хвост на семь аршин, как сеть плетеная висит,
как марь кружевная. Птица Паулин голову все поворачивает, саму себя все
осматривает и всю себя, ненаглядную, целует. И никому из людей от той белой
птицы отродясь никакого вреда не бывало, нет и не будет. Аминь.

Зело

Богатые – они потому богатыми называются, что богато живут.

Взять Варсонофий Силыча, Большого Мурзу. Он над всеми Складами надзирает,
решает, когда Складской День назначить, да чья очередь подошла, да какой
товар народу раздать.

Ума Варсонофий Силыч государственного, такового же и вида: тучности прямо
изумительной, даже и для мурзы редкостной. Вот ежели человек шесть
голубчиков вместе связать, так это и до половины Варсонофий Силыча
недотянет; нет, недотянет!

Голос у него тяжелый, сиплый и вроде как медленный. Скажем, надобно объявить работникам, чтоб в воскресенье, под Майский Выходной, Центральный Склад отворили и выдали народу по полпуда хлебеда да по два мотка ниток некрашенных. Другой бы, кто попроще, открыл рот, да и сказал что надобно, да и опять рот закрыл, до другого раза.

А вот и вышел бы подход негосударственный, и никто б его, такого, не слушался, и не бывать бы такому Мурзой.

А у Варсонофий Силыча как заведено: призовет с утра малых мурз, Складских Работников, и начнет: «Р?а?з?д?а?й?т?е.....», а что раздать, и не выговорит до вечера, потому как ему казенного добра жалко.

А и то, как не пожалеть! Это, полпуда-то, – на одного голубчика, а еще выдай и на бабу его, и на детишек, и на дедульку-бабульку слепеньких да хроменьких, да с каждого обихода родня али работники, да и перерожденцев кормить надо? – надо, – а изоб-то в одной Центральной Слободе, почитай, тыща, а ежели весь Федор-Кузьмичск, весь городок наш, набежит кормиться, так это же добра не напасешься!

А самому есть? А семье? А Складским Работникам? А холопам ихним? И?и, милые! – то-то! Без подхода нельзя!

И ум нужен: думу думать. Скажем, крышки. Опять-таки, простой голубчик, из жалостливых, как бы рассудил? – взять все крышки да попросту и раздать. Мигом бы слух прошел, набежало бы народу – не продохнуть, толчея, давка, крики; на закукорках у ходячих – увечные, те, кого в прошлые разы подавили; вопят: «Инвалиду!.. Инвалиду крышку!!!»; в толпе дети малые снуют – по карманам шарить, подворовывать; кто кота на веревке тащит, кто козляка, чтоб лишнюю крышку прихватить: это, дескать, шуринок мой, тоже хочет, а что у него шерсть, рога али вымя – дак это, голубчики, Последствие, али вы сами беленькие? – то-то.

Друг друга поубивают, крышек натащат сколько повезет, – у кого и сердце насмерть лопнет таскаячи, – а опосля в избе сидят, смотрят чего набрано, сами в ум не возьмут: а чего с ними делать-то? Чего ими покрывать? Эта велика, а та мала, никуды не приткнешь. Повертят-повертят, побьют с досады, да и свалят на задний двор под плетень.

Нет, с нами так нельзя.

Вот Варсонофий Силыч, все это рассудивши, да рассмотревши, да думу думавши, и решает: крышек нипочем не выдавать. И народ, и крышки целее будут.

А еще думает: коли суп без крышек кипит, дак он наваристее выходит, вроде как уседает. Оно и вкусней.

А еще думает: коли крышек нетути, дак мечта у каждого будет заветная: эх, крышечку бы мне! А с мечтой и жить сподручней, и засыпать слаще.

Вот оно-то и есть государственный ум.

Оттого и живет Варсонофий Силыч богато, терем у него двухъярусный, с маковками, на верхнем ярусе в обвод терема настил пущен на подпорках, называется галерея, по галерее – для страху – холопы расхаживают, поглядывают, нет ли против хозяина злоумышления, не желает ли кто камнем кинуть в его палаты али чем побольнее.

Во дворе службы разные: сараи, амбары, хлев для перерожденцев, бараки, где холопы живут. А холопов тьма-тьмушая: и мышеловные холопы, и мукомольные, и квасовары, и грибышатники, и хвощевники, и кого только нет! Есть и девки-поломойки, и пряхи, и ткачихи, а есть одна баба особая, и приставлена та баба снежки катать, толчеными огнецами, как мукой, обваливать и к столу подавать, и Варсонофий Силыч те снежки кушать изволит.

Бенедикт один раз сподобился Варсонофий Силыча во всей славе его лицезреть: шел себе мимо да и видит: стой, не пройдешь, малые мурзы дорогу перегораживают, на голубчиков гавкают, а кого и по спине колом огреют: не суйся. Тут тесовые ворота отворяются, колокольцы звенят, перерожденцы валенками топчут, сани скрипят, – ма-а?а?а?атушки мои! – в санях Варсонофий Силыч гора-горой расsemши. Народ обрадовался, шапки поскидал, в пояс кланяется: «Доброго здоровьичка, долгих лет тебе жизни, Варсонофий Силыч, кормилец ты наш ненаглядный, супруге твоей тож, деткам тож! Что б мы без тебя пили-ели, родной ты наш, золотинушка ты наша слатенькая!»

Вот так ему все кричат – и Бенедикт тоже, – чтобы он, ирод, размяк маленько, еды другой раз прибавил: сальца, репы, хвощей к праздничку, а не сам все

съедал-то.

А вот Федора Кузьмича Бенедикт никогда в глаза не видал. И уж не чаял сподобиться.

И вот оно, пожалуйста: нонеча, в обычный день, самый что ни на есть простецкий февральский денек, серый, мутноватый, метелистый-порошистый, с северным тревожным ветерком, – дует он и сметает снежный порошок с крыш за воротник, холодит голубчикам шею, набивается в бороду, красит уши в маков цвет, – словом, в обычный такой день, сегодня! сегодня! – подкатили к Рабочей Избе сани, а в санях гонцы разряженные, в кушаках, да шапках, да рукавицах, да ноговицах, да боже ты мой чего на них только не наверхено! – и объявили: жалует вашу Избу сам Федор Кузьмич, слава ему, пресветлым своим посещением.

А в Рабочей Избе, ёшь твою двадцать, с утра все печи погасли. Ночные работники, истопники, заместо того чтобы дровишки подкладывать да огонь раздувать, упились ржави, а может, квасу, а может, слышь, и гонобобелю нанюхались, хоть это и своеволие, – да все и проспали. Как протерли глаза, кинулись к печам – а там один пепел холодный, да и тот в трубу выдуло.

Крику!.. Крику-то матерного, отборного! – другой раз за год столько не услышишь, а что делать? – делать нечего; побежали в соседние Рабочие Избы за огоньком, а те не дают. Вы нам в прошлый раз не дали, а мы вам – теперь; хозяйство – дело рук каждого, разбирайся сам. А что нам за дело, что вы казенные; мы, чай, еще казеннее вас. Пошли, пошли отседа, козолупы дrochenые! щас мы вам вдогонку звездюлей-то накидаем.

Так наши и убрались ни с чем, а тут, вишь, гонцы. Наши перепужались, озлобились, чуть не плачут; кто руки заламывает, кто со страху описался, а Константин Леонтьич, что в углу у окошка сидит, на время как бы из ума вышел: стал кричать, что, дескать, вижу, вижу столп бестелесный, пресветлый, преужасный, громоподобный и стоочитый, и в том столпе верчение, и струение, и крылья, и зверь, идущий на четыре стороны.

А начальство, точно, озверело и побежало на четыре стороны, с криками да воплями: где Никита Иваныч, Главный Истопник? подать сюды Никиту Иваныча!

И Бенедикт тоже вместе со всеми заволновался, забегал – аж в висках застучало, в глазах темь пятнами пошла: Никита Иваныч! Где Никита Иваныч! Ведь вот, ведь сейчас, событие-то какое, случай-то какой, Господи! может, раз в сто лет Федор Кузьмич народу показываться изволят, слава ему! В кои-то веки с терема сошел с ясного, с крутоверхого, с?под резных курдалясин, что под кровлей понадрючены, с?под маковок багряных, молодой ржавью крашенных, боботюкалками утыканых, кукумаколками изузоренных! Госсподи!.. Госсп...! Радости-то, страху-то, радости-то!.. Да я...! да куда же мне...! да Госсподи!.. да где же Никита Иваныч, язви его!.. Не понимает, что ли?!

Гонцы той порой с саней поскакивали и давай расстилать чего с собой повезли: половики камчатные, узорные да плетеные по всей Избе раскатали; и на крыльце половики, и с крыльца половики; мигом снег вокруг избы утоптали и медвежьими шкурами вроде как полукруг выложили; благолепие такое, что вот сейчас умри, и не пожалеешь. Васюк Ушастый припал всеми ушами к земле и слушал: не едут ли; и вот уж кричит: «Слышу! Едут!» – и сразу вдали будто облако белое задрожало: снег пылит. Выросло облако, надвинулось, и народ чуть не умер, но зря: то лишь малые мурзы оказались, для пущей важности проехали: дескать, трепещите загодя.

Вот проехали они, только народ понапрасну попужали, а уж после, какое-то время прошло, – чу! – будто колокольцы каменные застучали. И птицы шарахаться начали, и помертвело все, и вот будто туча снежная идет, а в ней смерчи вертятся. Тут все, как есть, кто стоял у крыльца: истопники нерадивые, писцы, Оленька мелькнула, повара из Столовой Избы, так прохожие – все, кто набежал посмотреть, – повалились лицами долу, и Бенедикт с ними, так что как подъехали, как из саней выходили, чего такое было и каки-таки церемонии, али возня, али что, – ничего он не видел и не слышал, а только сердце в ушах билось, колотилось: туки-тук! туки-тук! Опомнился, только когда его пинками с сугроба подняли и в избу погнали благоговеть. А там! – даже будто и теплее стало: лепота, половиками все укрыто, аж на тубаретках половики, на лавках половики, окошки кружевами кисейными укрыты, весь сор в углы заметен и берестой прикрыт, так что и не видать, разве что пованивает; а свечей понатыкано – ужаси, да только ни одна не горит. Огня нетути. Никиты Иваныча нетути. Вот кто-то Бенедикта в спину торкнул: садись, голубчик, Федор Кузьмич не любит, когда столбом стоят. Бенедикт сел, замер и смотрит.

И все замерли, и совсем мертво стало. И из-за дверей шажки такие маленькие: туку-туку-туку, – и в избяные сумерки, на багряный половичок ступает Федор Кузьмич, слава ему.

– Вот и я, голубчики, – говорит.

И от страха и радости в голове у Бенедикта жар сделался, а в груди словно бы какое пространство расширилось, а посередь того пространства ровно кулаком стиснуло, подперло и не продыхнуть. И смотрит Бенедикт как сквозь туман, и диву дается: ростом Федор Кузьмич не больше Коти, едва-едва Бенедикту по колено. Только у Коти ручонки махонькие, пальчики розовенькие, а у Федора Кузьмича ручищи, как печные заслонки, и пошевеливаются, все пошевеливаются.

– Не ждали? – говорит Федор Кузьмич, засмеявшись. – Картину я хочу такую нарисовать: «Не ждали», ага. Думаю, понравится. Там, это, ну, один входит, а другие, значит, с мест повскакамши и удивимши. Ну, давайте разговоры разговаривать. Как живется, работается, чего такое делаете?

– Переписываем, Федор Кузьмич! – зашумели голубчики, а Федор Кузьмич засмеялся, и многие тоже смеяться стали, вроде как облегчение вышло: простой такой Федор Кузьмич, слава ему, оказался; может, и пугаться нечего, разве что вот руками шевелит.

– А дайте-ка я тоже сяду, – опять засмеялся Федор Кузьмич. – Охота к народу поближе, ага.

Головой по сторонам повертел и прыг на колени к Оленьке. А она его поперек живота ухватила, как Котю, и держит. Не боится.

– Крепче держи, а то свалюсь, ага, – говорит Федор Кузьмич. – Под микитки держи, двумя руками. Только не щекоти, ага.

– Рады встретиться, Федор Кузьмич! Долгих лет жизни! – заговорили голубчики. – Сподобились! Спасибо вам!

– Спасибо вам за ваше искусство! – крикнул Васюк Ушастый.

– Спасибо, что вы есть! Спасибо! – это бабы.

– Я завсегда рад встречаю с интеллигенцией, ага, – Федор Кузьмич головку вывернул и снизу Оленьке в личико посмотрел. – Особенно когда тут такие лампампушечки меня под микитки держат. Верно? Только не щекоти.

– Верно, Федор Кузьмич, – зашумели голубчики.

– Вот думаю картин много понарисовать, – сказал Федор Кузьмич. – Если, конечно, ржави хватит, ага.

Тут все совсем развеселились: уж чего-чего, а ржави всегда хватает.

– Построю большую-пребольшую избу, картинки нарисую и гвоздиками к стенкам приколочу, – делился Федор Кузьмич. – И в честь себя назову: Каблуковская, дескать, галерея. Ежели кто не знает: Каблуков – моё фамилие.

Так все и грохнули: кто ж этого не знает.

– Вопросы какие будут? Может, чего непонятное сказал, дак вы спрашивайте. Спрос не ударит в нос, верно?

– Верно! Ой, верно, Федор Кузьмич, долгих лет вам жизни! – закричали голубчики. – Правильно! Вот в самую точку попали! Ну до чего ж верно, вот в аккурат в самую середку! Точно! Точно! Так и есть!

– А картины – это что? – Оленька голосок подала.

Федор Кузьмич, слава ему, опять головку вывернул и опять на нее посмотрел.

– А вот увидите. Сурприз вам будет. Это вроде рисунка, только крашеное. Один сюжет я придумал смешной, ужаси. Там один голубчик мыша ест, а другой, значит, к нему в избу входит. А этот, который ест-то, значит, мыша прячет, чтоб тот-то, другой, не отнял. А называться будет «Завтрак аристократа», ага. А еще чего я придумал-то. Одну картину я красил, а она у меня вышла не очень. Назвал «Демон». Ну там я все синим позакалякал, ага. Так я думаю вам ее в рабочую избу подарить, ага. Повесьте ее тут где-нибудь, чего она у меня зря болтается. –

И рукой свите махнул: – Подайте ее сюды.

Вот один из свиты за пазуху полез, коробку берестяную достал, из коробки тряпицу вынул, развернул, а там вроде как лист какой – береста не береста, а побелее будет. Тонкая-тонкая. Вчетверо сложена. Развернул, а там ярко-ярко так, глянули, – а и не понять, чем покрашено-то, и все вправду синее. Подали Федору Кузьмичу, он картину-то эту ручищами разгладил и обратно подает:

– Кто у вас старшой-то? Повесьте на стенку.

Константину Леонтьичу как раз кляп изо рта вынули – оклемался маленько; он громче всех закричал «спасибо», тонко так и громко, как козляк, прямо у Бенедикта над ухом: оглушил, бя. А Бенедикт не знал, что и думать: первый свежий страх вроде отступил, а заместо него в душе – смурно, что ли. Надо бы сильнее благоговеть, а благоговеется как-то слабо, что ли. Криво как-то. Вот если бы на земле распластаться, на четвереньках, коленки подогнувши, а руки эдак вперед и в стороны разбросавши, а лбом об пол бить – тогда лучше получается. Не зря придумано. Тогда восторг так прямо из тебя и прет, как все равно отрыжка; так бывает, если мочеными хвощами объешься: в животе печет и прихватывает, и из нутра в глотку все пузыри, пузыри прут. А на тубаретке сидючи какой восторг? Вроде как ты, простой голубчик, Набольшему Мурзе ровня: ты сидишь, и он сидит; он тебе слово, ты ему слово. Не дело это. И даже, слышь, дерзость в нутре родится и зависть берет: эй, Мурза, ты зачем к Оленьке на коленки сел? А ну слезай. А то щас как ссажу. Подумал так – и еще смурнее сделалось: эка. Как он про Федора Кузьмича сейчас представил. Чего это?

Тут Варвара Лукинишна робко голос подает:

– Федор Кузьмич, вот я спросить хотела... У вас в стихах все настойчивее превалирует образ коня... Поясните, пожалуйста, «конь» – это что?..

– Чой-то? – переспросил Федор Кузьмич.

– Конь...

Федор Кузьмич улыбнулся и головой покачал.

– Сами, значит, не можем... Не справляемся, ага... Ну-ка? Кто догадливый?

– Мышь, – хрипло вышло у Бенедикта, хоть он и положил себе помалкивать: так на душе криво было.

– Вот, голубушка. Видите? Вот голубчик справился.

– Ну а «крылатый конь»? – волнуется Варвара Лукинишна.

Федор Кузьмич нахмурился и руками пошевелил.

– Летучая мышь.

– А как понимать: «скребницей чистил он коня»?

– Ну, голубушка, вы ведь сырую мышь есть не будете? Шкурку сымете, правильно? Ежели суфле али бланманже с ее взбить, вы ж ее всю пообдерете, верно? Ежели, к примеру, вам с ее, с мыши, вздумалось пти-фри а ля мод на ореховой кулисе изготовить али запечь под бешамелью с крутонами? А то мышаток малых наловишь и давай шнель-клопс наворачивать, блинчатый, с волованчиками? Нешто вы их не почистите? – Федор Кузьмич посмеялся эдак недоверчиво и головкой покрутил. – А?! Что ж мне вас учить. Думаете, мне сочинять легко? Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды, ага. Забыли? Я ж об этом сочинял. Не спи, не спи, художник. Не предавайся сну. Да и окромя искусства дел невпроворот: день-деньской изобретаешь, крутишься-крутишься, ажно мозги вспухли. На мне ж все государство. Другой раз и не присядешь. Вот сейчас Указ сочинил, на днях получите, ага. Хороший, интересный. Спасибо скажете.

– Слава Федору Кузьмичу! Долгих лет жизни! Заранее благодарны! – закричали голубчики.

Тут отворились двери и вошел Никита Иваныч. Все на него обернулись. И Федор Кузьмич тоже. А он вошел как к себе домой, недовольный, в бороде ржавь застряла, шапку не снял, на колени не повалился, не закатил глаза под лоб. Не зажмурился.

– Доброе утро, граждане. – Раздраженный такой. – Ведь неоднократно просил: поаккуратнее с печами. Следить надо. Старого человека постоянно гоняете.

– Истопник Никита, знай свое дело, разжигай печь! – закричал Шакал Демьяныч страшным и зычным голосом.

– Вот что, Шакал, вы мне тут не тычьте, – взвился Никита Иваныч. – И не указывайте!.. Мне триста лет, и я бюрократического хамства еще при Прежней Жизни навидался, благодарю покорно!.. Это ваша задача, ваша элементарная задача: поддерживать минимальный порядок! Ваши коллеги пьянствуют, а вы меня дергаете по пустякам. А в массовом алкоголизме, Шакал, отчасти и ваша вина. Да-да!!! Не первый раз вам говорю!!! Вы не склонны уважать человеческую личность. Как и многие, впрочем. И ваш ветеранский статус, – Никита Иваныч голос повысил и кривым пальцем по столешнице постучал, – попрошу не прерывать! ваш ветеранский статус не дает вам права меня третировать!!! Я такой же хомо сапиенс, гражданин и мутант, как и вы! Как и вот, – рукой повел, – остальные граждане!

Все уж привыкли, знают, что Никиту Иваныча нечего слушать: несет Бог знает что, сам небось половину слов не понимает.

– Тута сам Федор Кузьмич, слава ему, присутствуют!!! – затрясся Шакал Демьяныч.

– Тута я присутствую, – кашлянул Федор Кузьмич. – Разжигайте печку, голубчик, ради Бога, ноженьки померзли. Разжигайте, чего зря серчать.

Никита Иваныч только рукой махнул. С досадой. И пошел к печи. А что глава государства, не абы кто, пресветлым посещением осчастливить изволил, что беседу с народом беседует, что думками своими государственными делится, что картину в дар изволил передать, что стража с крюками и алебардами застыла навтыжку, что Константин Леонтыч опять с кляпом сидит, веревками повязанный, чтоб не смел, что у Варвары Лукинишны от напряжения все гребешки ходуном ходят, что пол багряными половиками изукрашен, – это ему как будто все равно. Прямо лаптями по государственным половикам прошел, наследил. Все так и замерли.

– Ну хорошо, где дрова? – недовольно так буркнул.

Малые мурзы с дровами подбежали, в печь покидали. Все смотрят, и Федор Кузьмич смотрит, и Бенедикт смотрит: никогда он не видел, как Главный Истопник огонь разжигает. А у него в руках ничего нет. И из кармана ничего не торчит.

На корточки сел. Посидел. Подумал. Голову повернул и глазами всех обвел. Опять подумал. А потом как раскроет рот, да как хыхнет: хыыыыыыыххххх! И изо рта его, как столб, как ветер, вышел, клубясь, огонь, и вошел в печь, и ахнуло и загорелось в широкой печи, и затрещало, вздуваясь, пламя желтыми языками, словно Окаян-дерево в весеннем цвету.

И от страха и криков людских опять помутилось у Бенедикта в голове, только и видел, что Федор Кузьмич ручищами толк, да на пол прыг, да и был таков. Как опомнился – бросился на улицу, глядь: только снег с земли до неба поднялся, а в том снеге опять смерчи ходят. И малые мурзы в обратную сторону проскакали.

А в избе опять ни половиков, ни шкур, стены одни голые, закопченные, пол мусором покрыт, печь гудит, тепло от нее волнами бежит, и от того тепла синий «Демон» на стенке шевелится, будто сойти хочет.

Иже

Ах, позавидовал Бенедикт Никите Иванычу! Вечером после работы, добравшись до дому, он как всегда, волнуясь, проверил печь, и, как назло, как уж часто бывало, печь погасла. На часок бы раньше прийти, оно, может, и ничего бы, еще какая-то жизнь теплилась бы в угольках, еще можно бы, пожалуй, на колени встав и вывернув шею, как если бы молясь, дуть, дуть – выдуть живой огонек из сизых, засыпающих деревяшечек. Да, часом раньше – еще можно бы. Да рабочий день длинен, да пока на работу доберешься, да с работы бегом бежишь – как нарочно, словно кто рассчитал, чтоб тебе не поспеть к сроку! Суп-то, конечно, еще не простыл, если горшок тряпками замотан был как надо; похлебать можно, но вкус у него грустный, вечерний; ешь на ощупь, в темноте, – ведь и свечу разжечь нечем, и жалко себя, так жалко! Изба тоже еще не простыла, можно спать завалиться: в зипуне, в шапке; это только ночью

подмерзать начнет: поползет зима в худые щели, в пазы, будет задувать под порог, дышать холодом из подполья. А утром в избе смерть, да и только.

Нет, так долго не протянешь, надо либо к истопникам идти огня просить – готовь сурпризы, голубчик, – либо к семейным соседям стучать, побираться, ежели не очень злые. У семейных жизнь легче: пока хозяин работает, баба дома сидит, по хозяйству поворачивается, за печью досматривает. Варит. Печет. Мусор метет. Прядет, может. Да только не будешь же изо дня в день попрошайничать, эдак никакого терпения у соседусшек не хватит: дадут в лоб оглоблей. А не то, может, они спать завалились, а не то лаются промеж собой, как у семейных принято, али дерутся, в волосья вцепившись, а тут ты, нате вам: не пожалуете ли угольков, добрые голубчики?

А вот Никите Иванычу, стало быть, ни семья, ни баба, ни соседи не надобны, и печь хоть сто раз погасни – ему все равно. Пыхнул – и разжег. Он, стало быть, и закурит когда хочет, хоть он в лесу, хоть в поле, хоть где, – огонек с собой. Пожелает – костерок запалит, сядет к огню, подбрасывая сухой бурелом, веточки, дрянь лесную, опадыши чащобные; станет глядеть в красно-желтое, живое, шевелящееся, теплое, пляшущее. Ни просить не надо, ни кланяться, ни челом бить, ни пугаться – ничего. Свобода! Вот бы Бенедикту так! Вот бы так!..

Он еще раз, в кромешной тьме, ощупал горшок с теплым супом, пошарил руками в окрестностях: где ложница? А черт ее знает, сунул куда-то и забыл. Опять через край хлебать? Да сколько же можно, ведь он не козляк?..

Выбрался на крыльцо. Господи! Какая тьма. На север, на юг, на закат, на восход – тьма, тьма без края, без границ, и во тьме, кусками мрака, – чужие избы как колоды, как камни, как черные дыры в черной черноте, как провалы в никуда, в морозное безмолвие, в ночь, в забвение, в смерть, как долгое падение в колодец, вот как во сне бывает, – падаешь и падаешь, и нетути дна, и сердце становится все меньше да меньше, все жальче да туже. Господи!..

А над головой – небо, тоже чернее черного, а по небу, узором, голубоватые пятнышки звезд, то гуще, то слабее, словно бы дышат, пошевеливаются, словно бы тоже задыхаются, ежатся, хотят оторваться, а не могут, намертво приколочены к черной небесной крышке, накрепко прибиты, не сдвинутся. Прямо над головой у Бенедикта, всегда над головой, куда ни отойди, – и Корыто, и Миска, и пучок Северных Хвощей, и ярко-белый Пупок, и россыпь Ноготков,

и мутно, тесно, густо сбитое, полосой через весь ночной небосвод Веретено, – все тут, всегда, сколько себя помнишь. Родись, умри, встань, ляг, пляши на соседской свадьбе или поутру на малиновом суровом восходе проснись, как от удара палкой, испуганный, как если бы ты один остался живой на свете, – они всё тут, всегда тут, бледно мигающие, подслеповатые, вечные, молчаливые.

За спиной – остывающая изба. Щи. Лежанка. На лежанке – тряпье: валяное одеяльце, что от матушки осталось, летний зипун – ноги укрывать; подушка перьевая, замусоленная. У окна должен быть стол, у стола тубаретка, на столе расщеп с сальной свечкой, да в чулане свечей запас, да ржави с полпуда, да в загашнике, от воров припрятаны, валенки запасные, да вязаные носки, да лапти на весну, да каменный ножик, да сушеных грибышей связка, да котелок с ручкой. Утром были, во всяком случае. Живи не хочу. Все есть. А все чего-то неможется. Все чего-то свербит, свербит.

...Али богатства алчу? ...Али свободы? ...Али помереть боюсь? ...Али куда уйти хочу? ...Али вознесся дерзостью до высот своеволия, мыслю себя мурзой, а не то каким властелином неудобосказуемым, агромадным, волшебным, всевластным, главным-преглавным, голубчиков потаптывающим, во тереме обретающимся, руками пошевеливающим, главой помавающим?.. А как Федор Кузьмич-то, слава ему, в сени взошел – и все повалилися... А как Никита-то Иваныч огнем хыхнул...

А ничего старик не боится, никто ему не надобен – ни мурза, ни соседи. Потому такая сила ему дана, такое Последствие завидное: огонь у него вnutрях вырабатывается. Да он захочет – всю слободу спалит, да чего: весь городок, все леса вокруг, весь блин земной! Потому, знать, и начальство его стороной обходит, не придирается, как к нам, простым голубчикам; его же сила, и слава, и власть земная!.. Ох-ти, охтеньки, а нам, малым да сирым, в ночи на крыльце стоять, вдыхать морозную тьму, выдыхать тьму чуть теплую, переступить с ноги на ногу, задирать личико к далекому небесному Веретену, слушать, как слезы мороженым горошком шуршат, скатываются в заросли бороды, слушать, как молчат черные избы на черных пригорках, как поскрипывают высокие деревья, как ноет метельный ветер, как доносит порывами – чуть слышно, но явственно – далекий, жалобный, северный голодный вой.

И краткое

Не обманул Федор Кузьмич-то, слава ему, – в аккурат через неделю после пресветлого своего посещения изволил издать Указ, и по всем Рабочим Избам тот Указ раздали для переписывания и размножения, досталось переписывать и Бенедикту.

Шакал Демьяныч всех собрал и объявил – как будто сами не знаем, – что государственное постановление должно быть в кратчайшие сроки доступно всем голубчикам, а посему чтоб быстро и с красивыми завитушками тот Указ перебелили и на каждом углу, где есть щит, чтоб приколотили копию.

Указ

Вот как я есть Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секлетарь и Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю.

? Праздновать Праздник Новый Год.

? Энтот праздник чтоб праздновался Первого Марта навроде Майских Выходных.

? Тоже выходной.

? Значит никому на работу не ходить, пей-гуляй, что хочешь делай, но в меру, а не так как бывает другой раз что буяните и все пожжете а потом разгребай.

? Энтот Праздник Новый Год праздновать так: обрубить в лесу дерево так небольшое разлапистое, чтоб в избу влезло а кто хочет ставь во дворе. Вторнуть его дерево это в пол или куды придется, чтоб держалось, а на ветки понавесить всякой всячины что у кого есть. Можно нитки цветные крученые али так, можно орехи, огнецы или чего не жалко чего дома завалялося всякая дрянь по углам всегда бывает другой раз и сгодится. Покрепше там примотайте чтоб не падало сами знаете.

? Свечки тоже зажгите чтоб светло и весело.

? Всякой вкуснятины наварите-напеките не жалеете все равно скоро весна в лесу всего полно понавырастет.

? Гостей зовите соседей, родню, всех угощайте, ничего не жалеете, не объедят, сами же тоже есть будете.

? На дудках играйте кто сподручный, на колотушках, можно вприсядку у кого ноги в порядке.

? На себя одежду хорошую наденьте, расфуфырьтесь, в волоса тоже повтыкайте чего ни попадя.

? Может кому помыться охота дак я велю Бани открыть в дневное время пожалуйста заходи мойся но только дрова с собой приносите а то на вас не напасесси.

? Интересно будет вот увидите.

Каблуков

Бенедикт перебелил Указ четырежды, отдал Оленьке бересту, чтобы буквицы покрасивее изукрасила – плетеными ленточками, птичками и цветочками, потому как дело сурьезное, или, как выразил Шакал, судьбоносное, – и сам просветлел и порадовался. И остальные голубчики, что в избе работали, тоже просветлели и словно бы выпрямились. А как же не порадоваться: весна на носу! Весна! Кто ж ее не любит! Самый захудалый, паршивый голубчик по весне охорашивается, добреет, на что-нибудь там свое надеется.

Вот пролежишь всю зиму на печи, в копти да шелухе, да не снявши лаптей, да не мывшись, не чесавшись, уж и нога-то от грязи как все равно валенок – хоть сам любуйся, хоть соседям показывай; уж и борода-то вся гнездами пошла да колтунами – хоть мышей приглашай; уж и глаза-то чешуей поросли – хоть пальцами раскрывай да придерживай, а не то захлопнутся, – а придет весна, выползет такой поутру, по весне-то, на двор, по нужде или как, – и потянет вдруг ветром сильным и сладким, будто где за углом цветы пронесли, будто девушка какая вздохнула, будто идет кто невидимый и у калитки твоей остановился, а сам с подарками, – и стоит запселый мужик, и замер, и будто слушает, и ушам своим не верит: неужто, мол?.. Неужто?.. Стоит, глаза

остекленели, борода звенит, как ржавь на ветру, как колокольцы малые; рот разинул, а закрыть забыл; как взялся за портки, так и застыл, и от ног уж на снегу два круга черных протаяли, и уж птица-блядуница ему на волосья нагадила, а он стоит, безгрешный, первым ветром омытый, на золотом свету, а тени синие, а сосульки жаром горят и наперебой работают: кап-кап! кап-кап! трень-трень! – стоит, покуда сосед али сослуживец не окликнет, мимо идучи: «Чего торчишь, Эдуард? Али чем подавился?» – и рассмеется по-хорошему так, по-доброму, по-весеннему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/tatyana-tolstaya/kisy-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)